

БОРИС СПОРОВ

Волжский роман



Живица

Исход

Волжский роман

Борис Споров
Живица. Исход

«ВЕЧЕ»

2020

Споров Б. Ф.

Живица. Исход / Б. Ф. Споров — «ВЕЧЕ», 2020 — (Волжский роман)

ISBN 978-5-4484-8336-3

Борис Фёдорович Споров родился в 1934 году. Окончил школу в Актюбинске. С начала войны пережил тяжёлый голод, а уже в 1947 году начал работать учеником слесаря. За свою жизнь сменил много профессий: работал плотником, электросварщиком, слесарем-сборщиком, монтажником... Был арестован и приговорён к четырём годам ИТЛ по ст. 58.10.11. После освобождения поступил в Литературный институт. Во время и после учёбы работал школьным учителем, а после реабилитации редактором многотиражной газеты, зав. отделом журнала «Наш современник», в издательствах «Современник», «Отчий дом», «Новатор». Лауреат Патриаршей литературной премии за 2017 г. Роман-трилогия «Живица» состоит из книг «Исход», «Жизнь без праздников», «Колодец» и имеет подзаголовок «Хроника одной семьи». Струнины – родные погибшего фронтовика из деревни Перелетиха Горьковской области. С первой до последней страницы мир вращается вокруг этой семьи. События книги «Исход» разворачиваются в 40-х—50-х годах на правой стороне Волги – в Заволжье, на строительстве гидроэлектростанции. Хотя и Перелетиха не без памяти. Но именно в Заволжье возрастают дети: крепнут сыновья, матереют дочери, и только мать угасает, её зовёт родная земля. В непростой, противоречивой жизни определяются судьбы героев романа.

ISBN 978-5-4484-8336-3

© Споров Б. Ф., 2020

© ВЕЧЕ, 2020

Содержание

Часть первая	7
Глава первая	7
1	7
2	10
3	11
4	14
5	16
6	18
7	19
8	21
Глава вторая	23
1	23
2	24
3	27
4	27
5	29
6	31
7	32
8	33
9	35
Глава третья	37
1	37
2	37
3	39
4	41
5	42
6	44
7	45
8	47
9	49
Глава четвертая	50
1	50
2	50
3	54
4	55
5	57
6	58
Конец ознакомительного фрагмента.	60

Борис Федорович Споров

Живица. Исход

© Споров Б.Ф., 2020

© ООО «Издательство «Вече», 2020

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2020

Сайт издательства www.veche.ru

Часть первая

*Тебе соху да борону,
А мне чужую сторону...*

Глава первая

1

Перелетиха невелика, дворов в ней не более тридцати пяти с нежилыми. Дома в два порядка по увалу. Старики говорили, что когда-то давно река протекала под самой горой, но теперь Имза огибала деревню в полуверсте за пойменными кочковатыми лугами. С одного конца Перелетихи гумно и колхозные хранилища, с другого – околичные жердяные ворота и проселок на Курбатику. Посреди деревни правление, далеко на задворках которого конный двор, коровник и свинарня. Отсюда и начинаются пахотные земли – до самого леса борового.

Колодцами в Перелетихе не пользуются – их нет. По воду ходят на ключи под гору. Студеная круглый год вода неусыпно журчит по разбухшим и осклизлым желобам и колодам: там и белье полощут, и молодую картошку по осени в корзинах моют.

* * *

Второй год войны, второй год в деревне коноводили бабы, второй год сиротели дети, второй год из деревни только уходили, пришло – четверо: двое одноруких, один без ноги да один с падучей – контуженый.

Бывало, труд делился сам по себе, без уговоров. Наступит апрель – весна: мужик с крыши снег счистит и раскидает, воду спустит и изгородь поправит; и поля осмотрят мужики, и пчел повыставят. А к маю, глядишь, и овёс посеют.

А бабы в колхозе пеньку мнут, скотину чистят-гладят, рассаду готовят да курочек-дурочек в решета сажают.

Так было и в семье Струниных. Теперь же с заботами своими и мужниными Лизавета управлялась одна. Поднималась она рано, до света. В то же время и свекруха свешивала с печи иссохшие, жилистые ноги. Разбитая старостью и долгим трудом, она еще помогала снохе по хозяйству. Иногда за помощь Лизавета бранила маменьку, но в общем была ей рада: вдвоем меньше думалось и легче страдалось.

В печи потрескивали-стреляли подсохшие за ночь дрова, гулко постукивали ухваты, пошаркивались по шестку чугуны и горшки – кипело, варилось и парилось для семьи и для скотины. До семи надо было управиться, а в семь, оставив на свекровь спящих детей и мытье посуды, Лизавета уходила по наряду.

«Седни на сортировку или навоз чалить», – думала она, спеша к правлению. Там уже толклось с десятков товарок. Все они похожи одна на другую: в платках, в телогрейках, подпоясанные ремнем или веревкой, в темных юбках, в мужских портках, в валенках и, как на подбор, в красных калошах-«лягушках», клеенных из автомобильных камер.

Дышалось легко, потому что была весна. От домов снег уже сполз, в улице он перемешался с грязью, но по ночам все это сковывало морозцем. И под горой, за деревней, снег истощился – синевой обозначился изгиб Имзы.

Отгоняя окаянную тревогу, Лизавета спешила, чтобы успеть до работы послушать новости фронтовые и районные.

– Здорово, бабоньки.

– Здравствуй, Лиза, – вразнобой ответили товарки.

– Бабоньки, али что случилось?

– Не случилось, так жди – случится, – глядя в сторону, ответила за всех уже овдовевшая Кирганиха.

– А в Курбатихе, слышь-ка, Михеев Серафим слепым пришел, бают, все лицо изрешетило сердешному, – поделилась Лизавета, но на весть эту вовсе не отозвались. Разговор не ладился.

На крыльцо вышли председатель Шмаков – возвратившийся фронтовик с контузией – и бригадир Настасья Воронина.

– Ну так айда, бабы, на конный, – вздохнув, сказала Настасья и шагнула с крыльца.

А ближе к полудню, когда Лизавета тяжелыми вилами догружала очередной воз, Настасья Воронина окликнула:

– Лиз, оставь, я догружу.

Лизавета выпрямилась, пальцами вытерла со лба испарину.

– Дак ведь я и сама с ног не валюсь. – Она чуть улыбнулась, но сердце вдруг екнуло. – А что так?

– Шмаков баил зайти в правление, – ответила Воронина и отвела взгляд.

Очистив «лягушки» от навозной грязи, Лизавета вошла к председателю. В кабинете гулял сквозняк – накурено. Стены голые, лишь над столом в простых рамках портреты Ленина и Сталина. Шмаков сидел на своем месте, рядом склонилась счетовод Юленька.

– Что ли, звал, Петрович? – Лизавета притянула за собой дверь.

– Проходи, Лиза, садись. – Шмаков поднялся, поправил ремень на гимнастерке, побарабанил по столу пальцами.

Наступило неловкое молчание. Юленька бессмысленно зарывалась в бумаги.

– Вот... новые нормы поставки, – сказал Шмаков и поджал губы.

«Опять: берись, мол, за звено», – подумала Лизавета и уже вздохнула, чтобы возразить-отказаться, но Шмаков повел совсем о другом:

– Как, Лиза, тяжело? Закружилась с детьми?

– Тяжело... Теперь всем тяжело.

– Это да... Картошки-то хватит? – спросил и нервно заиграли желваки на скулах.

– Дотяну. Авось и на посадку сберегу.

Опять замолчали. И только теперь Лизавета поняла, что не за этим ее пригласили. Она растерянно глянула на Юленьку, на председателя.

– Зачем звал-то? – попытала нерешительно.

– Зачем? – Шмаков опустил на стол тяжелую ладонь. – За добрым, Лиза, теперь не зовут.

– Не шути этак, Петрович, – с одышкой отозвалась Лизавета.

– Крепись, Струнина Лиза, – сказал председатель и тотчас почувствовал, как стыдно стало за казенные и холодные слова. Но ведь уже сказал. – Погиб Петр смертью храбрых, вот извещение...

Лизавета чувствовала руки Юленьки, слышала ее слезы и слова утешения, но понять ничего не могла. Она готовила себя к такой вести, в страхе ждала, но не от Шмакова, а как все – от почтальона Глаши...

– Маменька! – уже дома истошно вскрикнула Лизавета. – Маменька, Петрушу убили! – И пластом рухнула с порога на пол.

Приходили соседи, подруги, родня, но не утешали, не мешали выплакаться, да и сами плакали.

Забившись на печь, в страхе ревели дети, и только Алешки среди них не было – семилетний Алешка исчез.

* * *

Отца Алешка помнил хорошо. Часто после работы отец сажал сына себе на плечи, давал ему в руки полотенце с мылом, и втроем – с ними добродушный пес Пират – они шли под гору, к Имзе.

Отец особенно любил Алешку, потому что сын был первым после двух дочерей. И хотя лицом он уродился в мать, отец с гордостью заявлял: в Алешке кровь – струнинская.

Началась война. Пират в сознании мальчика остался частицей папаньки, и когда в избу вломилась роковая весть, Алешка скользнул с печи, надвинул на ноги сестрины валеночки, воровато зажал в кулак варенную в мундире картошину и побежал к Пирату.

– Пират, Пират, – звал он, оттягивая дверь предбанника. Здесь вторую неделю от старости и голода подыхал пес – его уже и лапы не держали. Алешка раздавил картошину, сунул ее в нюх Пирату, но пес не шелохнулся. – Ешь, Пират, ешь, Пиратик.

Алеша снова и снова уговаривал, предлагал жвачку, но каждый раз часть жвачки сам и заглатывал. А Пират все реже открывал глаза.

– Пират, Пиратик, папаньку убили... – Алешке стало страшно, и он заплакал. А пес с трудом приподнял голову, сухим, шершавым языком слабо лизнул мальчонку в нос, шумно выдохнул – и вытянулся.

Здесь, возле собаки, уже посиневшего от холода, и отыскиали поздно вечером Алешку. Он оплакивал две смерти: смерть отца и Пирата.

* * *

Дети уснули, всхлипывали во сне. Бабушка, окаменевшая от горя, как птица, сидела на грядке печи. Она машинально гладила Санькины пушистые волосенки – любимый внук, вылитый Петр. И старухе в забытии казалось, что ласкает она своего первенца – Петрушу.

А Лизавета все стонала, хотя слезы иссякли. Под утро она затихла, точно умерла, но уже через час поднялась, пошатываясь, прошла к печи.

Свекруха сидела все так же бесчувственно, ноги ее заметно отекали, лицо как будто оземлилось.

Лизавета никогда не отличалась внешней красотой, даже в девках: невысоконькая, полноватая, с утиным носом и бесформенными широкими губами, она не привлекала особого внимания. Но глаза – глаза её можно было выделить из всех глаз деревенских девушек: покорные, добрые, с милосердным открытым блеском, они, казалось, никогда не вспыхивали гневом. Такова была и душа её. Поэтому в деревне и не удивились, когда Пётр Струнин – один из первых парней-женихов – засватал неприметную Лизу Брусникину.

* * *

Анна и Вера в школу не пошли. Весь день дети толклись вокруг матери. С хозяйством управлялась мама-старенькая, горе будто ожесточило её.

Вечером, как со взрослыми, мать беседовала с дочерьми. Их смущал этот необычный разговор «по-взрослому», они стыдливо отмалчивались.

– Учитесь, дочки. Теперь весь век тяжело будет... Бабушка старенькая, а вас пятеро. Вы – старшие. Ты, Анна, кончай семилетку и учись дальше, учись, покуда у меня сила есть, и ты, Вера... Братья-то, вишь, махонькие, – продолжала мать, придерживая дочерей за худенькие плечи, – их тоже надо будет учить. Так вот, вы наперед и учитесь, чтоб опосля им подмогнуть... А что до войны, то война кончится. Россия-то – она, эх, велика, ее и немец не осилит... – Мать хотела улыбнуться, подбодрить детей, но сама и заплакала, и дочери тоже заплакали.

2

Мал деревенский мир, но горя в нем много. Все чаще приходили похоронки: то в одном, то в другом доме голосили осиротевшие семьи. Тяжко переносить горе в одиночестве, вечерами вдовы собирались вместе. Но Лизавета редко вырывалась на люди – забота не отпускала, да и горе её в заботах только и развеивалось. А когда, обессиленная, она впадала в короткий сон, то засыпала моментально и спала неподвижно, без памяти.

Началась весна в деревне, но скоро она широко раскинулась и по округе. Не успела вычерниться земля, а леса уже переполнились птицей, раньше срока в скворешнях поселились скворцы. И даже в синих сумерках, не говоря уже о ночах, голодные лисы и волки бродили близ деревни.

Все живое только и ждало, когда окончательно проснется земля-кормилица... Детей мучила золотуха; истощавшая скотина тоскливо ревела во дворах – где ты, спасительная зелень?

Однако в колхозе люди трудились яростно: знали, что работают для фронта. На трудодни получали «палочки» и «галочки» – большего не спрашивали, тоже знали – большего нет, все для фронта.

– Здесь, бабоньки, перебьемся, а вот там каково! Голодный в атаку не побежишь – одолеют! – часто восклицал Шмаков, и с ним молча соглашались. Последнюю солому с крыш сгребали для колхозных лошадей, и никто не роптал – так надо, иначе не отсеешься...

* * *

Летом четырнадцатилетняя Анна работала в колхозе наравне со взрослыми, а вечерами «зубрила», готовилась к вступительным экзаменам в педучилище. Но когда получила вызов и подоспело время ехать, Анна оробела и наотрез отказалась:

– Не поеду, мама, и не уговаривай, и не говори!

– А ты погодь, дочка, погодь, – осадила ее Лизавета. – Нешто так с матерью калякают? Сядь-ко.

Заметно смутившись, Анна села.

– Подумай, дочь, нешто ты зря училась?

– Мама, кончится война – тогда и поеду. Я помогать тебе буду работать, учиться успею.

– Погодь, погодь, я от твоей помощи не отказываюсь... Тяжело. – Мать вздохнула и, помолчав, добавила: – А учиться враз и не поспеешь. Теперь не выучишься, а опосля поздно будет, не то в голове заройтся. А ты учись, покуда у меня сила и Вера – помощница. Да и мама-старенькая, глянь-ка, поднялась, авось одолеем.

– Нет, нет и нет, – упрямо повторяла Анна.

Но и мать заупрямилась неузнаваемо, повысила голос:

– Нет, поедешь!

Замолчали, старались не смотреть друг на друга.

– Лиза, ты што девку-то неволишь? Чай, и дома делов хватит, – глухо кашлянув, нарушила молчание свекровь.

– Оставь, маменька, не встревай в разговор! – резко ответила Лизавета, сама удивившись своей дерзости – никогда не случалось такого. И растерянно, уже обращаясь к дочери, она тихо сказала: – А когда ты народилась, Петруша взял тебя на руки. «Вот, – баит, – Лиза, вырастет наша Анька – учительшей будет, помяни мое слово». – Мать поникла, беспомощно отмахнулась рукой.

Анна сдалась.

* * *

Собирали Анну учиться, как собирают в поход за судьбой-счастьем. Мать съездила в районный центр, продала последний полушалох и мужнин костюм – все за бесценок. Напекли хлеба с отрубями, нарыли молодой картошки, навязали зелени, так что одной все нести было бы не под силу.

Лишь на вокзале Лизавета прослезилась, подумала: «И куда я, лютая, ее спроваживаю и как она будет в чужих людях одна-одинешенька»...

– Смотри, дочка, экзамены-то эти сдавай как следует, старайся.

Анна в ответ кивала, повторяя:

– Ладно, мама, ладно.

Обе горевали. Мать помогла отыскать место в вагоне. Наспех простились. С платформы Лизавета опять же и наказывала не отходить от вещичек, беречь деньги и справки, хорошо учиться и почаще писать письма. Анна кивала да повторяла:

– Ладно, мама, ладно.

И крепче сжимала опущенную раму, чтобы не плакать. Но слезы были, и мать с дочерью плохо видели друг друга.

А перед вокзалом в телеге Верушка беззаботно лузгала подсолнух.

3

«Здравствуйте, мама, бабушка, Вера, Алеша, Саня и Ниночка! Спешу сообщить вам, что доехала хорошо и что жива и здорова, того и вам желаю. Мама, я уже устроилась в общежитие, в комнате нас восемь девочек. А ребят здесь вовсе нету, во всем училище двое или трое, а остальные – девочки. Получила хлебную карточку, уже выкупала в магазине хлеб.

С первого сентября учиться мы не будем, на месяц в колхоз на картошку. Перед входом в училище у нас висит плакат: «Накормим фронт!»

Деньги, мама, которые ты мне дала, у меня еще целые, я их экономлю. Город здесь, мама, смешной: старый, с узенькими улочками – весь он на берегу Волги. И говорят здесь как-то по-чуждому, точно припевают, на «ё» наворачивают. Сначала мне было страшно, а теперь скучно, но это, мабуть, пройдет. Хотя бы кто-нито из наших деревенских здесь учился, тогда бы гоже.

Ну, маменька, до свидания. Всех, всех вас целую, а особенно тебя. Передавайте привет родным и знакомым. Твоя дочь Анна.

Жду ответа, как соловей лета».

Много не написала Анна: не написала о том, что деньги уже кончились, что за общежитие надо платить и что стипендию, может, и не будет получать. Не написала она и о том, что ее ботинки «просят каши» и что продукты, которые везла из деревни и которых ей хватило бы на добрые две недели, вместе с котомкой украли в дороге, стоило лишь задремать. Не написала, что каждую ночь плачет, тоскует и уже сотню раз покаялась, что согласилась ехать учиться.

Деревня ей вспоминалась доброй сказкой.

* * *

«Доченька, Аннушка, сообщаем, что письмо твое получили. Большое тебе за это спасибо. Шибко уж ты, дочка, писать неохоча, пишешь мало. Новостей-то у тебя куча, это у нас все по-старому. Только вот с мамой-старенькой худо, не знаем, как и дюжит. Алешка учится славно, горазд на учебу. Сянюшка как упырь – здоровущий, да все в живот прёт. А вот Ниночка хворает: горлышко завалило и личико в болячках, но ест все, мабудь, поправится скоро. Копаем картошку – хорошая. Мешков десять в яму ссыплем. Ты, Аннушка, не стесняйся, милая, картошки надо, так пришьлем, а деньги будут – и денег. Ты только учись, теперь на тебя вся надежда. Корову пустим в зиму, спасибо дяде Саше Шмакову – помог сенца заготовить. Ну вот, почитай, и все. Целую тебя, дочка, и все остальные целуют: бабушка, Вера, Алеша, Саня и Ниночка. Не задерживай с ответом и пиши больше».

Мать тоже не все написала: не написала, что надорвала живот и неделю пролежала в постели, а теперь перетягивается платком – иначе и работать нельзя. На трудодни пока ничего не дали и, вероятно, не дадут, и печь треснула – надо бы перекладывать... А остальное написала все как есть.

* * *

«Добрый день, веселый час, пишу письмо и жду от вас!

Здравствуйте, мама, бабушка, Вера, Алеша, Саня и Ниночка. Получила от вас письмо и посылку – все на месте, все в порядке. Носки шерстяные мне в аккурат по ноге – тепло. А то с Волги дует и прохватывает до косточек, пока добежишь до училища. Прошло всего три месяца, а я уже попривыкла. Только все во сне тебя вижу и папаньку. Не верь, мама, извещению – он живой, вот увидишь, скоро письмо прийдет. У меня по всем предметам хорошо, а вот военное дело не получается. Как стрелять, а я глаза закрою – все мимо. Трусиха, куда уж мне до Зои Космодемьянской. Здесь меня зовут Аннушкой, а подругу повыше – Аней, а еще повыше – Анной, так нас и различают... А стараться – я очень даже стараюсь. Скажи Верке, чтобы не ленилась, а Алешке за его пятерки что-нибудь привезу. Скоро, мама, Новый год, а потом каникулы. Если не будем работать для фронта, то приеду обязательно. Скучаю... Вот и все мои новости. Пропишите, что у вас новенького. Целую всех крепко-крепко, ваша Анна».

Но здесь уж дочь явно нагрешила против истины. Носки она продала, так что ветер с Волги по-прежнему прохватывал ее до косточек. В общежитии и в училище холод, без пальто нельзя. За декабрь стипендии нет, а каникулы – работать для фронта.

Анна за это время похудела, вытянулась и стала вспыльчивая. Она так до сих пор и ругала себя за то, что решила учиться, хотя учиться ей хотелось и нравилось.

* * *

«Здравствуй, дочка. Во первых строках сообщаю, что у нас новое горе: дядя Вася, папин брат, погиб – прислали похоронку. Маруся не утешится, сердешная, а мама-старенькая от горя, то и гляди, рехнется. Год этот тяжелый, високосный, и с самого что ни на есть января несут и несут похоронки, инда страшно. И когда этому Гитлеру проклятушему конец придет?! Сколько ведь головушек полегло во сырую землю.

Аннушка, денег я тебе с полсотенки вышлю попозже – пока нет. Корова только-только отелилась. Ребятишки едят молозиво, а самую-то ее кормить нечем. Очень уж поприжало:

вскрыли яму, картошку перетаскали в подполье, сверху вся померзла – с осени соломки мало бросили.

Алешка худущий – глаза да нос, а все учится на «отлично». Нинушка поправилась, а Санюшка поносит, да с кровью. В колхозе работаем много: от темна до темна, хватит, зиму отдыхали, теперь скоро и посевная. А Старостиним летось прислали, что Михаил погиб, а он на неделе письмо прислал, в гошпитале. Старостиха собирается к нему. Господи, а может, и наш папанька тоже жив... Учись, дочка, лучше, а на лето постарайся приехать. Кланяются все. Мама».

На этот раз мать писала без утайки.

* * *

«Лети, письмо, извивайся, никому в руки не давайся, а дайся тому, кто рад сердцу моему! Здравствуйте, мои дорогие! Mamочка, как хорошо, тепло-то как! И не верится, что зима прошла. От моих чёсанок остались одни голяшки. Я починила туфли и теперь хожу по-летнему. Волга разлилась прямо под окна общежития. Идут пароходы. Привозят муку, и за хлебом очередь поменьше. На карточки в магазине можно достать даже патоку, ну как мед... А май такой теплый! И войска наши так и идут на Берлин! А всё это – Сталин! На демонстрации я несла его портрет и плакала – так я его люблю!.. Учиться мне осталось меньше месяца, потом экзамены. Потом месяц отрабатывать, а потом только; может быть, удастся домой – соскучилась я очень. А папа наш жив, вот увидите! Целую вас сто тысяч раз! Анна».

Забыла Анна написать о многих тяготах, но в этом виновата весна.

* * *

Было лето, была работа, были письма, но свидания так и не было. В сентябре опять же работали, заготавливали для училища дрова. Анна уже приспособилась к студенческой жизни, попривыкла, и письма домой и из дома стали более редкими.

Но вот однажды зимой ответа не было слишком долго. Анна собиралась написать еще, когда вдруг пришла телеграмма:

«Мама при смерти, выезжай. Вера».

В тот же день пешком по Волге, с котомкой за плечами Анна ушла в Правду – за пятнадцать километров, там была ближайшая железнодорожная станция...

Перелетиха казалась покинутой: после снегопадов и метелей улица тонула в снегу, около домов не расчищено, и – ни души. Налегке Анна почти бежала по узкой тропинке, пугал ее каждый дом: бельмами слепо смотрели замерзшие окна.

Родной дом – он так же завьюжен и сир.

«Что там? Жива ли?» – успела лишь подумать Анна, как на мосту загромыhalo, с ледяным скрипом распахнулась холодная дверь: на крыльцо друг за другом выскочили Алешка, Саня и Вера. Мальчишки, раздетые и босые, бежали навстречу, и нельзя было понять – то ли они испуганы, то ли рады до испуга. Вера, одетая «под хозяйку», едва поспевала за братьями.

Обхватив Алешку и Саню, Анна заплакала.

В избе было сумрачно и тепло, пахло лекарствами. С печи, как соенок, из-за бабкиной спины выглядывала Нинушка. Мать лежала пластом. Глаза ее смотрели как деревенские зимние окна – безжизненно.

– Мама! Мама! – Одной рукой стягивая с себя платок, Анна кинулась к постели, на минуту даже перестала плакать, чтобы услышать голос матери. – Mamочка! Что случилось, как же это так?!

Мать молчала.

4

А случилось страшное.

В боровой деляне разрешили своими силами заготовить и вывезти по три воза дров. Ближе к обеду пришла свояченица Маруся – вдова Василия.

– Лиза, за дровишками катнем, в два воза? Топить нечем.

– Стирать я, было, надумала, – попыталась уклониться Лизавета. – Да и не подуло бы, кой грех. Ветром, глянь, все подхватывает...

Однако сговорились быстро, и уже через полчаса с конного тронулись двое саней – до деляны и всего-то шесть километров.

Свояченицы сидели в передних дровнях. Топоры торчали в вязках, пила на задке прихвачена веревкой. Вторая кобылёнка костыляла следом.

– Зачем ты эту дерюжину взяла? – спросила Маруся о брошенной в ноги шубенке, у которой, и верно, трудно было разобрать, где нутро, а где верх.

– Да маменька: возьми да возьми, ну и взяла. Лошаденку укрою...

– Лиз, а мужика-то хочется? – как будто невзначай сказала Маруся.

– Полно-ко чудить, до мужика ли. – Лизавета вздохнула. – Силушки-то нет – мотает. Да и думать об этом теперь грешно.

– Тяжело... а все одно хочется душу отвести; так, Лиза, хочется, что кажись... – И помолчав, добавила: – Ведь три года мужика не знаю. – Маруся вздохнула, вытянулась в возке. – Только мы и на баб-то уже не похожи. – Она усмехнулась. – Юбки-то так, вроде бы как срам свой прикрыть. – И вздернула подол никчемной юбки, хлопнула себя по бедру. – Ну, чем не мужик, а!

В стеганках под ремень, в брюках бывших мужей они и впрямь походили на мужиков.

– Погодь, Маруся, авось наши придут, может, живы – отыграешься.

– Ах, оставь ты, что себя обманывать да тешить обманом! – Она готова была заплакать. – С того света не приходят... Скорей бы война кончилась: безногого, а подберу, не то – с ума сойду.

Лизавета не ответила, она стыдилась разговора и думала о том, а как дальше будет со своей гвардией. О новом замужестве ей и думка в голову не западала.

Ехали молча, а ветер все заметал под дровни тягучие языки поземки.

Разнуздав лошадей, бросив им по клочку смеси соломы с сеном, свояченицы сразу принялись за дело. Деревья на валку были с затесами.

Звенела пила, по-мужицки стучали топоры – весело, со звоном отскакивали промерзшие сучья. Лизавета тайком завидовала силе и хватке свояченицы, которая вся точно выплескивалась наружу, и топор в ее руках так и летал полумесяцем над плечом. Лизавета старалась не отставать, но не та у нее была сила.

Свалили восемь лесин, разделали, а когда начали резать на плахи, Лизавета уже чувствовала, что Маруся таскает пилу взад и вперед.

– Постой, Маруся, не могу... задохлась.

Бледные, в испарине, они разогнулись и улыбнулись друг другу.

– В ушах ли у меня гудит или что так? – посомневалась Лизавета.

– А я думала, это у меня в голове кровь бесится. Обе прислушались: вверху леса гудел ветер.

– Ишь как ревнивится. Не завьюжило бы. Давай-ка, давай, – поторопила Лизавета, берясь за пилу.

Через час дровни были загружены, стянуты веревками и закреплены кольями. Заиндевелые лошаденки, еле сгибая застывшие суставы, тронулись, но визга полозьев уже не было слышно – лес гудел угрожающе. То и дело под ноги падали с деревьев сбитые ветром комья снега. Даже в лесу дорогу перехватывало метелью.

Громко понукая, Маруся шла передом, частенько оглядываясь на Лизавету. Но когда выехали из леса, сверху обрушился мелкий сухой снег. Еще и полверсты не миновали, а уже друг от друга потерялись.

Ветер дул со всех сторон. Снег валил сверху и поднимался снизу, подхватываемый ветром. Всё перемешалось, глаза невозможно было открыть. Лизавета кричала, звала Марусю, но голос ее до боли беспомощно растворялся в стоне выюги. И даже собственную лошаденку точно унесло снегом.

– Но! Но! – Лизавета дергала за вожжи, однако лошадь не двигалась.

Неожиданно кобыленка рванула, резко свернула оглобли и поперла в сторону. Лизавета натянула вожжи, но лошадь так отчаянно мотнула башкой, что Лизавета упала лицом вниз, хотя вожжи не выпустила. Пропахав с десятков шагов, лошадь захрапела и остановилась. Лизавета поднялась, тотчас утонув по пояс в снегу.

«Шубенка-то», – вспомнила она и отчаянно забарахталась, в снегу, подтягивая себя за вожжи к возу. Она еле вытянула из-под веревки затканную снегом шубенку, с отчаянием думая: «Господи, помоги мне. Дети сиротами останутся, попритчило бы и дрова, пять сиротинок».

И бессознательно, но именно так, как рассказывал когда-то муж, ночевавший в степи, начала пробиваться к лошади.

Ветер крепчал, метель бесновалась. Лизавета не запомнила, как и добралась до лошади. Натянув шубейку на голову, она села в снег, подсунувшись под брюхо лошади.

«Ну, погибла», – последнее, что подумала Лизавета, и плотнее сжала веки.

* * *

Тревогу забила Настасья Воронина. Снарядившись потеплее, она прибежала к Шмакову.

– Саша, Саша...

– Ну что ты?

– Бабы-то наши в лесу – за дровами!

– Да ты, да ты... что ты, твою мать... молчала. – Он как будто растерялся, но уже тотчас, пнув ногой табуретку, крикнул на жену: – А ты какого хрена рот раззявила! Веревку из чулана! – В секунду он точно ошалел. – Наська, твою мать, кати на конный! Буланого в кошевку! Андрюху! Народ зови!

Он ловко навернул портянки, надел валенки, солдатскую шапку, полушубок, перехватился ремнем и выскочил на улицу.

«Пропали бабы, – только и подумал, когда ветер рванул за полы полушубка и поземкой, словно порохом, опалило лицо. – Хоть бы из леса не выходили».

Вскоре Буланный в легкой кошевке и семеро людей оставили деревню. Держась за веревку, брели по дороге, по заобочинам вязли в снегу. Шмаков лупил полешком по пустой фляге и кричал:

– Бабы! Бабы!..

Но голос его могли слышать лишь бабы, шедшие, держась за веревку, сзади. И всё же он кричал:

– Ба-бы!

А ветер передразнивал: «Мы-ыии». Буланный остановился, захрапел, попятился назад.

Воз стоял поперек дороги, лошадь утонула по брюхо за обочиной. Шмаков ногой взбивал заметы вдоль саней, и остальные уже копошились вокруг. На мгновение Шмаков приостановился и, точно осененный, метнулся в глубь дороги... Шагов за двадцать от воза он наткнулся на заснеженную Марусю. Она даже не лежала и не сидела – стояла на коленях, словно поклонилась земле да так и застыла.

– Ма-ру-ся! – взвопила Настасья, и даже лошади вздрогнули.

А Шмаков, зубами выхватив из четвертки бумажную пробку, пытался влить в закорючелый рот хотя бы глоток водки.

Пока возились с Марусей, перетаскивали ее в кошевку, как-то внезапно снег оборвался, с неба запомелькивали зеленоватые звезды. Ветер бил в одну сторону и уже не был так резок.

Шмаков распоряжался четко, по-солдатски:

– Отвязывай веревку... укройте тулупом, не гните, пусть как есть... Настасья, Андрюха, гоните к фельдшерице! Но! – И он огрел Буланого кнутом. – Петра, сваливай плахи к... матери, выводи коня, догоняй нас... Айда, бабы!

За веревку уже не держались, бежали по дороге, запинаясь и падая в ребристые снежные косы; складывали рукавицы у рта – кричали в холодную степь.

Ветер то как с цепи срывался, то замирал в снегу.

Дядя Петр так и не догнал – Марусин конь вовсе отказывался идти. Едва он вывел его на дорогу, как уже подоспел Андрюха на Буланом.

– Тяни его на конный, дядя Петра! – не останавливаясь, крикнул Андрюха.

И в то время, когда люди слышали удары копыт и суховатый визг полозьев, все разом увидели впереди справа обнесенный снегом воз. Кобыленка мотала башкой и тоскливо отозвалась на тревожное ржанье Буланого.

Лизавету нашли не вдруг. Разгребли снег, осторожно сняли шубенку, и все увидели, что Лизавета сидит, точно в гнезде, под талым боком лошади.

– Молодец баба, – просипел охрипший Шмаков и позвал: – Лиза...

Но Лиза не отозвалась. Он тронул ее за голову: укутанная шея мягко подалась в сторону. Легко подхватили из гнезда: руки ее болтались свободно, ноги, однако, не разгибались. Шмаков разжал рот и влил глоток водки. Лизавета медленно сглотнула – еще, еще... В дороге она стонала, пыталась что-то бормотать, но в ясную память не входила.

Маруся замерзла. Лизавете прихватило ноги, но она так настыла, что у нее открылись сразу все болезни, которые идут с простудой.

– Вот те и шубейка, – кое-как хлопоча вокруг снохи, ворчала свекруха.

5

Ясно было одно – уезжать нельзя. Мать лежала пластом, бабушка тихо угасала на печи.

Первое время Анна лишь плакала, не зная, за что и браться, с чего начинать. Чувство долга в ней боролось с желанием возвратиться в училище. Но прошла первая боль, и Анна взялась за дело, создавая, что она в доме – хозяйка.

А на неделе Алешка принес из школы сложенную треугольником записку.

– На, Аннушка, Вера Николаевна передать велела.

Тридцать девять лет Вера Николаевна Линёва жила и работала в Перелетихинской школе. Теперь уже мало кто помнил прежнюю учительницу, строгую и в то же время застенчивую и добрую девушку. К ней привыкли, как привыкает сосед к соседу...

Анна постучала в дверь. Послышались шаги и знакомый голос:

– Кто там?... Входи, Аннушка, входи, – приветливо встретила Вера Николаевна.

– Здравствуйте. – Анна не решалась переступить порог, чувство школьницы сковывало ее. – Вы мне велели прийти?

– Не велела, а просила... Да входи же ты, пожалуйста. – И Вера Николаевна легонько подтолкнула Анну из холодных сеней в комнату. – А у меня и чай поспел. Снимай пальто, не смотри, что я укуталась, знобит что-то.

Пахло копотью. Лампа светила тускло, но Анна тотчас отметила: осунулась, ссутулилась Вера Николаевна. А когда сели к столу, почудилось, что рядом сидит бабушка.

– Постарела? – Вера Николаевна виновато улыбнулась. – Это временно, я и до войны старела иногда... Ну а как мама себя чувствует?

– Плохо чувствует. – Анна склонила голову.

– Ничего, она у вас молодец. – Вера Николаевна разливала в тонкие, пожелтевшие от времени стаканы отвар зверобоя. – Вот и погреемся. У меня и конфеты есть!

Пили душистый кипяток с сушеной сахарной свеклой, сладко причмокивали. Вера Николаевна расспрашивала о педучилище, о преподавателях, о Городке, и мало-помалу Анна освоилась и уже отвечала охотно и подробно.

– Жаль, Аннушка, но на время придется тебе отложить учение. Не так ли?

– Так, – согласилась Анна. – Мама плоха, да и бабушка...

– Война... И у нас в школе тяжеловато: детишек много, а учителей – двое. У Галины Ермолаевны первый и третий классы – пятьдесят восемь учеников... А вот после войны мало будет детей...

Анна молчала, не зная, что и отвечать. Она уже догадывалась, зачем ее пригласили.

– Аня, – Вера Николаевна слегка распрямилась, – я позвала тебя попросить, чтобы ты поработала – поделила бы классы с Галиной Ермолаевной.

Анна смутилась:

– Да что вы! Какая я учительница? Меня самую учить надо.

– Какая? Обыкновенная. Многие так начинали... Я и сама так, восемнадцатилетняя, без специального образования сюда приехала. Тридцать девять лет прошло. – Она задумалась, невольно, видимо, вспоминая минувшие годы. – И маму твою учила, и тебя... Всякое тоже бывало.

– Не знаю, что и сказать.

– Что делать... Работать – это тебе очень пригодится, поверь мне. И деньги при вашей нужде лишними не будут.

– Да у меня и почерк-то неуклюжий, – пыталась защититься Анна, не догадываясь, что все это Вера Николаевна затеяла лишь ради помощи семье-горемыке.

На прощание Вера Николаевна сказала:

– Вот, Анна Петровна, журнал первого класса. Посмотри, как заполнять, и с детьми по фамилиям познакомься.

Стыдясь за «Анну Петровну», полная смятения, Анна простилась. С одной стороны, ей было лестно – все-таки предложили быть учителем, а с другой... Шла и пыталась представить себя на уроке, даже пробовала вслух говорить строгим голосом. И тотчас, оглядываясь, думала: «А не вернуться ли, не отдать ли журнал, пока не поздно?»

Когда же она пришла домой, увидела своих, то так смутилась, что нелепо начала совать журнал за печку.

– Не Алешка ли набедокурил? – тихо спросила мать.

– Нет, ничего, – пряча взгляд, ответила Анна.

– Ну вот, я же говорил, маманя, – с укором сказал Алешка и так многозначительно шмыгнул носом, что Анна невольно засмеялась.

* * *

«Здравствуйте, девочки. Извините, что долго не писала: сперва не знала, как будет и что будет, а теперь и писать-то некогда. Уже две недели я работаю учителем в первом классе. Не представляете, как это трудно! Я так много думаю о школе, что с ума сойти можно... А дома – горе, мама едва не замерзла в степи, а теперь лежит, не встает. Учиться пока не буду. Деньги, которые задолжала вам, вышлю через недельку, а вы мне вышлите мои вещи, книги же сдайте в библиотеку. Напишите, что у вас новенького, а я в свою очередь тоже напишу.

Никак не научусь проверять тетради быстро, трачу по пять часов. Старая учительница, Вера Николаевна, проверит пять штук, а я – одну. Она мне помогает и с планами, не то я зашилась бы. А пока до свидания. Анна».

Девочки отвечали, что в училище никаких перемен, что директор велела сообщить, что ей оформили академический отпуск, что вещи вышлют, но на высылку нет денег.

Анна перечитывала письмо, и ей становилось так грустно и тоскливо, что она готова была расплакаться.

* * *

В огородах до времени вскрывали картофельные ямы, с дворов и с изб снимали жухлую солому; в колхозе падала скотина – ее подвешивали на помочи-веревки, а она и на веревках дохла. В четвертый раз деревня томительно и робко ждала живительную зелень.

6

Рассвет был сырым и туманным. От разлившейся реки тянуло сквозным ветром. Иногда из-под горы долетало прерывистое ворчанье ключей. На ветлах сонно вскрикивали грачи. За дворами брехали и выли загулявшие собаки.

Еще в немногих избах вздули коптилки и лампы, а в кухонном окне Струниных уже отразилось пламя печи.

На крыльце Анна задержалась, сняла с коромысла ведра, шумно вдохнула терпкий воздух и, как откровение, произнесла вслух:

– Весна...

И мать, и бабушка лежали молча, они чувствовали себя виноватыми перед Анной, но обе не могли подняться и лишь сокрушенно вздыхали.

Стреляли на шесток осиновые дрова, дым с языком пламени тянуло в трубу, золотистым кружевом сгорала сажа...

Сначала за окнами послышался топот ног, затем кто-то резко стукнул в окно. Вздвогнули, не успели обмолвиться словом, как дверь широко распахнулась.

И как ангел в трубу:

– Бабы! Победа! Война кончилась!

Мать, Анна, бабушка молчали. Был момент, когда Анна хотела что-то сказать, но так и оцепенела с приоткрытым ртом.

– Да вы что, обалдели? – Шмаков резко тряхнул Анну за плечи. – Война кончилась! Победа! Побегу дальше...

Деревня взорвалась. Буквально в считанные минуты вся Перелетиха была на ногах, заполняясь слезами горя и радости, оживленным говором, робкой песней, а через час уже поплыла хмелем – и откуда что взялось.

Дверные петли скрипели без умолку.

А пополудни, словно сговорившись, потянулись вдовы к Струниным. Они входили, неся на лицах упрямую радость, но стоило вымолвить слово, как любая из них не выдерживала – и слезы, слезы, слезы. Вдовели вторично, теперь уже ясно представляя, как будут возвращаться оставшиеся в живых воины, но никогда не возвратятся к ним. И если раньше «солдатка» звучало как «жена солдата», то теперь – как «жена убитого».

* * *

Бабушка как будто только этого и ждала. Она сошла с печи, надела свою бывалошнюю юбку с кофтой, прибрала аккуратно волосы, покрыла их платком и опустилась на колени перед образами. Молилась день, молилась ночь, потом, отдохнув, снова молилась. А когда ее беспощадное моление стало наводить ужас на семью, когда с поклона она уже не разгибалась минутами и когда уже молитвы иссякли, а душа как будто опустошилась, бабушка без единой слезинки простилась со всеми, всех благословила – и тихо умерла.

– Отмучилась, сердешная, – платком вытирая глаза, сказала Лизавета. – Прожила, как святая.

По маме-старенькой никто не плакал. Она ушла, наверно понимая, что ждать ей больше некого, да и жить – незачем.

* * *

Анна, казалось, смирилась с жизнью. Но когда мать поднялась на ноги и когда на горизонте замаячил сентябрь, она затосковала: нервничала, для сестер и братьев превращалась в «злюку», но Лизавета материнским чутьем отлично все понимала. И вскоре решительно заявила:

– Ну, будя, повозилась-повоуждалась – будя, ехай учиться.

На сей раз Анна не противилась.

7

В педучилище сменялись преподаватели, дела принял довоенный директор – Хлебников; во всем ожидали перемен.

В городе и на верфи с темна до темна стучали топоры, пахло смолой и краской.

Рынок был каждодневно воскресным: кипела торговля и спекуляция; гадали на картах и морских свинках, играли-шельмовали в «жучка», в «петлю» и в «три листика». Калек пели душераздирающие песни о том, как жена изменяла мужу, а он на фронте лишился рук или ног, или о том, как неверная жена отказалась в письме от инвалида, а он взял да и приехал здоровый и весь в орденах... Одни просили на хлеб, другие – почти требовали на водку. Особенно отличался безрукий моряк: он молча преграждал прохожим путь, держа в зубах бескозырку. А через полчаса он уже пил у «чапка», прихватывая стакан зубами за край. Тут же тихо продавали хлебные талоны или карточки, а рядом ершистый мужичишко с неподдельным задором горланил:

– Та-ба-чок-сам-сон! Молодых... на бочок, стариков – на сон! Двадцать пять за стакан – налетай, Иван! Табачок-крепачок! Раз дернешь... ноги вытянешь!

Поначалу Анна даже терялась в этом гомоне, но все-таки базарная суета взбадривала. И как ни тяжела городская жизнь, как ни тяжело было учиться, но все меньше волновали Анну деревенские вести, все чаще они удивляли ее, и она негодовала на жалобы. Что уж, мол, теперь – не война...

Весной же Анна опять затосковала. И как только установились дороги, отправилась домой погостить. От вокзала до перелетихинского поворота ее довез в телеге курбатовский мужик.

Еще жидкое, весеннее солнце разливалось по талой земле. Почки на деревьях разрывало бледной зеленью... И Анну как-то по-своему волновало пьянящее обновление – от ощущения весны становилось даже грустно. Всю дорогу спешила домой, но теперь, когда дом был рядом, она сошла с проселка в опушку леса.

Новая трава не прорезалась, летошние сучья прели, обугленные снежной влагой, кругом – покой, лишь вершинками деревьев легкий ветер играл молодо и упруго.

Вдруг почудилось, что за нею кто-то следит. Оглянулась – никого, и в то же время донеслось тихое мужское пенье.

Во субботу д-день ненастный,
Эх, да нельзя в поле работать...

Навалившись спиной на березу, совсем неподалеку – и как не увидела! – стоял Шмаков. Стоял он, слегка откинув голову, рукой держась за подбородок, точно позируя.

– Дядя Саша! – обрадованно окликнула Анна. Она и не заметила, как Шмаков вздрогнул, как резко сдвинул пальцами подбородок и побледнел. – Здравствуйте, дядя Саша! Что вы здесь делаете? – подбегая, спросила Анна.

– Что делаю? – С собой он уже справился. – Я-то что, а вот ты что здесь делаешь?

– Домой побывать иду.

– Москва – Саратов через Владивосток! – Он необычно загоготал, но уже тотчас, вяло улыбнувшись, добавил: – А я вот березовицей разговляюсь.

И только теперь Анна увидела на березе вырез стрелочкой – по берестяному желобку в бутылку струился мутноватый сок.

– Ой ли, а я думала, только дети березы подсачивают.

– И я так думал, а теперь передумал.

Шмаков был настолько вял и равнодушен, что Анна терялась и уже сожалела, что подошла. Но глаза его вдруг зажглись-заиграли, и он вновь возвратился в себя.

– Анна, Аннушка, а ты попробуй, попробуй глотни, ведь это сама сила, сама жизнь-живица! – Шмаков подхватил бутылку, Анна потянулась рукой, а он: – Нет, нет, ты не умеешь, я сам, ну-ка подставляй рот! – Анна прихватила губами горлышко. – Глотай, большими глотками глотай!

Сок горьковато-терпкий. Анна не успевала глотать, захлебывалась, струйки стекали на подбородок, на шею – и она глотала, глотала и вдруг почувствовала, что голова приятно закружилась. Анна оттолкнула Шмакова и засмеялась, сплюнув остатки сока.

– Дядя Саша, я пьяная!

– Нет, ты молодая и глупенькая, – вполне серьезно поправил Шмаков.

– Почему это?

– Потому что пить надо до дна.

Удивилась Анна, широко раскрыла глаза точно для того, чтобы увидеть, как дядя Саша похудел и резко постарел: в нем не было прежней подтянутости, волосы посерели, как будто сваялись, и щеки впалые давно не бриты.

Свет померк, березовица загорчила в горле.

– А ты послушай, как сок прет.

Уже нехотя Анна приложила ухом к стволу: внутри дерево легонько гудело, береза, казалось, упруго вздрагивала.

– Угу, – согласилась Анна, – живет... Ну ладно, домой побегу, до свидания.

– Ну-ну, – вяло проводил Шмаков.

8

Волновали радость и тревога. Теперь Анна спешила: задворками, напрямиком к отчому дому.

От деревни веяло тишиной. Словно разоренные гнезда, смотрели раскрытые дворы – обнаженными ребрами торчали стропила и следи.

«Будто война и не кончалась», – подумала Анна, обводя взглядом деревню.

На соседнем приусадебном участке пахали: пять баб, перекинув через плечи веревки, тянули плуг – за плугом шел не то паренек, не то невзрачный мужичишко. А следом молча, сосредоточенно перелетали тощие угловатые грачи.

И пахарки заметили гостью. Они остановились, распрямились, и Анна увидела, что среди них – мать, и даже заметила, как горько и виновато она улыбнулась: что, мол, поделаешь. Точно застали её за недобрым делом.

Анна подбежала к матери, они обнялись, и дочь ощутила в своих руках тяжелое и усталое тело.

– До-очь, а что это ты и не написала? – Лизавета смахнула наплывшую слезу. – Вот те и на, и не известила.

– Ну, бабы, перекур. Заодно и отобедаем, – устало вздохнув, сказала одна из соседок. Снимая с плеч мешки-подкладки, молча побрели бабы каждая к своему дому.

* * *

– Да что же это вы, мама, так-то, на себе пашете, неужто лошадей нет? – угощая Нинушку городским печатным пряником, допытывалась Анна.

– Лошадей, баишь? – Мать помолчала. – Не дает, в колхозе работу работать надо... А лопатой, чай, еще дольше проколупаешься, да и устанешь шибче. А так – оно спорее. Завтра нам пахать будем. Да как же это! В войну – и то пахали... на лошадях.

– Поди-ка, детка, сунься. Это ведь не Шмаков... Калянов не из тех: мягко стелет, да жестко спат.

– Да кто он такой, Калянов, в конце-то концов! – вспылила Анна.

– Знамо кто, председатель, – нехотя ответила Лизавета, ставя на стол с ухвата горшок. – Садись-ка, похлебаем.

– Почему молчите? Это же безобразие! – Анну так и подмывало стукнуть кулачком по столу.

– Полно те, поди скажи ему. – Лизавета безнадежно отмахнулась.

– Ну и пойду! – Анна все же стукнула ладошкой по столу. – Ну и скажу!..

И не успела мать ответить-возразить, как Анна уже выскочила в двери. По деревне она почти бежала. С ходу влетела в кабинет и – удивительно! – застала Калянова на месте, обычно его и днем с огнем трудно отыскать, вечно в городе.

– Да что же это за безобразие! – выкрикнула Анна. – В войну на лошадях пахали, а теперь – баб запрягли! Шмаков мог! А вы... безобразие!..

– Позвольте, нельзя же так врываться. Надо вежливо, по-хорошему. В чем дело? – почти участливо спросил председатель и улыбнулся.

Сбивчиво и уже не так горячо Анна высказала свои претензии.

– Не так, не так. Вы всегда ставьте себя на мое место, тогда все будет ясно. – Еще раз обезоружив Анну улыбкой, Калянов продолжал суше и строже: – Лошадей в колхозе нет – все на посевной. И вообще, мы частные хозяйства не намерены поощрять. Это вы должны бы знать,

на учительницу, говорят, учитесь... Чему же вы пионеров будете учить? – Он усмехнулся. – Шмаков... Разбазарил колхоз – и в сторону. Пусть благодарит, что под суд не отдали... Комсомолка? – неожиданно спросил он.

Анна молчала, смутившись окончательно.

– Так вот, товарищ Струнина, думайте, прежде чем делать такие заявления. Запомните, что есть органы, которые выше нас. А запрягать, мы никого не запрягали и не запрягаем. Подбирайте слова...

* * *

Снова и снова Анна беспощадно и беспомощно думала: почему деревня так и осталась военной? Почему до сих пор не могут даже электричество провести, хотя в десяти километрах высоковольтная электролиния? Почему половина деревни с раскрытыми дворами? Почему на трудодни ничего не дают? Почему бригадир – теперь мужчина, не то что во время войны! – ходит по утрам с палкой, гремит ею по наличникам и лениво орет: «Марья, на работу. Дарья, на работу!» А Марья и Дарья молчат, хоронятся по чуланам. Почему о колхозах и налогах сочиняют и поют такие злые, похабные частушки? Почему?.. Но ответить на все эти многочисленные «почему?» она не могла.

В деревне смятение – люди рвутся в город.

Однажды Анна совсем решилась написать обо всем этом в Москву, но так и не дописала – почерк плохим показался. Не дописала же, видимо, потому, что в душу ее уже тогда запало сомнение: а надо ли вообще возвращаться в Перелетиху?.. Есть и другая доля.

Глава вторая

1

Деревни, приписанные к Городку, и в то лихое время были более зажиточны и спокойны. Еще кровоточили фронтовые раны, еще тысячи Перелетих не ели досыта хлеба, а тысячи Городков получали нормированную пайку по карточкам, еще процветало сиротское нищенство, а здесь, поди же, – достаток. И новому человеку могло подуматься, что края эти беды миновали. А все потому, что здешние крестьяне исстари были предприимчивыми: не богаты хлебом, но богаты озерной рыбой, огородами, богаты пойменными лугами – а где луга, там и стадо. Ко всему мужики занимались отхожим плотницким промыслом – и это тоже не однажды спасало от голода. И люди верили в себя, знали себе цену: держались с достоинством, горделиво. За достаток и домовитость и обзывали заволжских «кошелями», а то – «куркулями». Бывало, в Городке на пристани кричит какой-нибудь плутоватый охлесток:

– Эй, заволжски кошели, поманеньку шевели!

Сотоварищи хохочут, а заволжский мужик и бровью не поведет, будто и не его задирают. Так, лишь баба иная огрызнется: «В ладу с совестью-то живем – вот и кошели. Не то что ты, полоротый – сума переметная». Может быть, и поэтому недолюбливали заволжские пришлых, чужаков, хотя пришлые там случались редко, – заволжская округа цвела на отшибе, в стороне от больших дорог.

Ни в Пестове, в школу которой Анна получила направление по окончании училища, ни в Салогузове и Палкине – соседних деревнях одного колхоза – крыш под соломой не бывало. Да и сами дома, гладкие, украшенные резьбой, глядели осанисто, горделиво. Здесь что ни мужик, то плотник, да не просто плотник – умелец. На колхозном лесозаводишке в две пилорамы, на берегу Волги, клепали баржи, килевые рыбацьи лодки, гнали тес и дранку.

Правление колхоза, клуб и сельмаг размещались в Салогузове, школа – в Пестове...

– Что день грядущий мне готовит?.. – пыталась Анна запеть с юмором, но юмора не получалось. Грядущий день был неясен и действительно тревожил.

В пестовском проулке от неожиданности Анна вздрогнула – под ноги шмякнулся полу-сгнивший помидор.

– Как вам не стыдно! Разве можно кидать в людей? – возмутилась Анна. Из огорода нагломерно смотрели трое подростков, один из них курил.

– Што лаёшь! – огрызнулся куливший и приказал: – Поддай.

Гнилые помидоры шлепнулись по чемодану. Анна и вовсе растерялась.

– Ну, что пялёшься, шеблячка? Катись дальше.

Невольно подстраховываясь, Анна почти робко спросила:

– Дети... ребята, а где ваша школа?

– Дети... Што, али слёпа? – Куливший мотнул головой в сторону двухэтажного кирпичного дома. Анна взялась за чемодан, а мальчишки, «окая» и «ёкая», ахнули припевку:

Мимо школьных, мимо школьных,
Мимо школьных дверей!
А кому какое дело —
Мы плюем в учителей!

Анна вбежала в коридор школы – он показался ей чересчур темным. Привалилась к стене и ясно-ясно вспомнила, как они когда-то гурьбой ходили почти до самого бора встречать новую учительницу – и то был праздник.

– Да, войдите! – услышала она и толкнула дверь.

За столом сидела женщина лет сорока пяти, солидная и внешне холодноватая.

– Проходите, садитесь... Вы, вероятно, и есть Струнина?

– Да, Струнина. – Анна поставила чемодан и села на край стула.

– Очень хорошо, что приехали не в последний день...

«И почему она на меня так, смотрит, с усмешкой, что ли?» – думала Анна.

– Я – директор, зовут меня Людмилой Станиславовной, Фарфаровская. – Она чуть склонила голову, поворачиваясь в профиль. – А вас, если не ошибаюсь, Анной Петровной?

– Откуда вы знаете? – Анна искренне удивилась.

– Конечно же, не по щучьему веленью. – И улыбнулась снисходительно. – Так вот, Анна Петровна, думаю, о работе поговорим завтра...

«И почему она так смотрит, как ощупывает?» – опять подумала Анна, невольно вспоминая другой, добрый взгляд – Веры Николаевны.

– А пока решим вопрос с жильем. – Директор поднялась из-за стола, она оказалась роста выше среднего. Рядом Анна выглядела щупловатой девочкой. – Так вот, Анна Петровна, договор на жилье у нас уже заключен с владельцем того дома. – Она указала в окно наискосок от школы. – Вон, где старик вокруг ямы возится. Вход отдельный. Дровами обеспечивает школа, ну и продовольственные льготы. Колхоз здесь ничего, председатель – тоже, жить можно. Пока и все, Анна Петровна. Будем считать, что вы уже работаете. – Людмила Станиславовна подала руку, как бы заключая союз.

Старик возился около ямы, приспособливал в нее доску-полоз. Рядом лежал свежий ошкуренный столб для электросети.

– Добрый день. Здравствуйте, – поздоровались учителя.

Старик замедленно распрямился – а был он почти вдвое выше Анны, – медленно, еле проговаривая, сказал:

– Доброго здоровица, – медленно же стянул с головы зимнюю шапку, – в избе, – дополнил он, кивнул на крыльцо и медленно вновь склонился к работе.

Позднее Анна узнала, что дед Мурашкин был примечательностью. В Пестове к нему призывали как к чему-то необходимому, музейному. Вспоминая или указывая на него, нередко говорили:

– Вот он – из бывалых людей, вот какие были, не то что теперь.

Он долго жил и ел много, враз мог управиться с караваем хлеба и четвертью молока, и очень был доволен, когда позднее в Пестове открылась рабочая столовая. Туда он постоянно ходил после домашнего обеда и удивлял строителей, съедая по пять-шесть порций котлет с гарниром. Сколько ему лет – он не знал, родные утверждали, что родился дедушко в год отмены крепостного права. О нем жили легенды. Например, говорили, что дед Мурашкин в молодости один удержал за канат сорвавшийся с якорей плот, увяз по колено в берег, но удержал.

Когда Людмила Станиславовна и Анна, переговорив с хозяйкой, с внучкой деда Мурашкина, вышли на крыльцо, старик медленно, с чувством, с толком, плечом с подпоркой поднимал в яму пятиметровый кряжистый столб.

2

Анна приняла четвертый класс – ясно, директор распорядилась не лучшим образом. Первый же учебный день принес огорчения. Мальчишки глядели маленькими мужичками, много было переростков, от многих разило табаком. Анна поздравляла класс с началом учебного

года, говорила о планах и задачах на год, но ее не слушали. Спокойно себя чувствовали и двое из гренадеров, которые так неласково из огорода встретили молодую учительницу.

– Дети, сядьте правильно! – наконец не выдержала Анна и легонько хлопнула ладошкой по столу. А из класса кто-то с усмешкой сказал:

– Што лаёшь...

Прозвенел звонок. Не дожидаясь разрешения, четвероклассники шумно повалили в коридор.

* * *

К урокам Анна готовилась тщательно, составляла и записывала развернутые планы, но на уроках все ее планы рушились. Она пыталась заинтересовать класс – по целому часу красочно излагала материал из учебника, но и это не помогало. Руки опускались. Однако больше всего Анну тревожило то, что дети не воспринимают ее как учителя. Достаточно было Людмиле Станиславовне появиться в коридоре или войти в класс, как тотчас прекращались беготня и шум. С ней покорно и вежливо здоровались, ей улыбались. А ведь и она в этой школе отработала всего лишь год... Анна же иногда от дома до учительского стола не слышала ни единого «здравствуйте». Она шла по коридору – ей не уступали дорогу, даже могли толкнуть. Школьники не были на неё злы, они лишь относились к ней как к своему человеку. Но сама Анна думала: «Дети не признают», – и чувство страха и разочарования делало ее робкой.

– Анна Петровна, – как-то оставшись с глазу на глаз, обратилась директор, – наполняемость оценок в вашем журнале хорошая, однако, мне кажется, многовато двоек.

– Но они не учат уроки, ничего не знают и знать не хотят, – смущенно защитилась Анна.

– Начальство обычно, – она выделила это слово, – начальство говорит: нет плохих учеников, а есть плохие учителя. Я, правда, такого мнения не придерживаюсь.

Анна окончательно растерялась, а Людмила Станиславовна будто и не замечала этого, спокойно продолжила:

– Я понимаю, вы без опыта, первый год работаете, но...

– Но что же делать? – Анна беспомощно развела руки.

– Работать надо, – сказала Людмила Станиславовна. – Занимайтесь дополнительно. Требуйте.

Однажды после уроков Анна в учительской пожаловалась на поведение класса. Умудренные коллеги молчали, и лишь одна сказала:

– Сами мы их и распустили, строже надо.

* * *

Но и строже не получалось: ни желаемой дисциплины, ни успеваемости. И Анна обратилась за помощью.

– Прежде всего – не падать духом и не говорить, что положение безнадежное, – выслушав Анну, начала директор. – Хорошо, что обратились – значит, все будет в порядке.

– Не успокаивайте, Людмила Станиславовна, мне, видимо, надо оставить эту школу.

– Вон даже как! Сдаваться? Нет... Народец здесь тертый, тяжелый, приезжому трудно... – После паузы директор оживилась: – Знаете, что надо? Надо поставить себя выше окружающих на сотню голов, сознать себя генералом, а не солдатом! Тем более с детьми. Вы повышаете голос, нервничаете, а им смешно... Холодное, высокомерное отношение и хотя бы видимое спокойствие. Значит, сменить тон, не повышать голоса, требовать не в общем, а конкретно и до конца; выявить заправил, вызвать родителей, вразумить, что их дети могут быть исключены... Я помогу вам объясняться. Вот так.

С уважением и робостью, действительно как солдат на генерала, смотрела Анна на Людмилу Станиславовну, уважая спокойствие и трезвую рассудительность, но и робея перед спокойствием и рассудительностью. Смотрела и точно не сомневалась, что дело наладится, стоит лишь взяться ей – всемогущей директрисе.

– Ну а теперь пойдёмте ко мне ужинать.

– Нет, нет, спасибо, – поспешила отказаться Анна.

– Ну что ж, потчевать велено, неволить – грех... Только не сомневайтесь и не расстраивайтесь – все будет хорошо, да и «Волгострой» нас выручит. Через год-два мы будем работать в школе городского типа. Я и это учла... при переезде сюда. – Она вздохнула. – Здесь будет строиться громадная гидроэлектростанция. Естественно, сначала рабочий посёлок, а со временем – город, говорят, город Волжск или Поволжск, не знаю... В Городок уже свозят вербованных, так что потерпите. Народу здесь будет великое множество. – И, помолчав, она для себя, что ли, дополнила: – В январе приедут и мои орлы – дети; они там, на Востоке...

Некоторое время Анна перестраивалась: пыталась быть холодной, строгой и спокойной, но это у нее не совсем получалось, хотя четвероклассники насторожились. И наконец вошел в действие директорский план.

– Козлов, Орехов, Морохов, поднимайтесь, идите за родителями, – заранее продуманно, спокойно сказала Анна.

Класс замер, трое вызывающе смотрели на учительницу. Наконец Морохов ответил за всех:

– И не подумаём.

– Урок продолжаться не будет, – опять же спокойно объявила Анна, от напряжения кончик ее носа побелел. Открыла дверь и позвала уборщицу.

В дверях появилась коротконогая плотная Анфиса.

– Сходите к родителям Козлова, Орехова и Морохова, пригласите их в школу, и чтобы пришли обязательно.

– Это я ментом, – ответила Анфиса. – Вот дома ли?

– Анфиса, только решишь, – покраснев от гнева, сказал Морохов.

– У, еретик паршивый, я те ментом кудери вытреплю! – Она воинственно двинулась к обидчику, но Анна остановила ее. Ворча, Анфиса вышла из класса.

Пришли родители, и Анна только удивлялась: директорша говорила с ними как с провинившимися первачами – отчитывала со всех сторон, и женщины, обычно дерзкие на язык, как в рот воды набрали.

Во время перемены построили линейку. Людмила Станиславовна зачитала приказ об исключении Морохова из школы.

– Так будет с каждым, кто не пожелает подчиняться школьным правилам и учителю, кто будет нарушать дисциплину и не будет учить уроки. Исключать! Идите, работайте в колхозе! – закончила директор на одном дыхании.

Ох, долго после этого Анна не могла успокоиться. Её мучила совесть.

«Боже мой, – думала она, – виноват ли Морохов, если я не могла справиться с классом. Какой же я учитель?» – и всхлипывала от горя.

Класс притих, дело пошло на лад, но Анна понимала, что все держится на страхе и что половина глаз смотрит на нее недобро. Невольно она начинала заигрывать с классом, но дети не шли на эту «удочку».

3

Зимой живо заговорили о «Волгострое». А к новому, тысяча девятьсот сорок восьмому году по деревням повезли вербованных. Предчувствуя разорение, местные беспомощно хмурились, но на квартиры пускали – обязывал сельсовет, да и деньги платили.

После Нового года приехали и «орлы» Людмилы Станиславовны: Римма, худошавая рыжеволосая девушка лет двадцати двух, и Виктор – лет двадцати, среднего роста спортивный парень.

Даже в морозы Виктор одевался легко. Каждое утро он выходил на школьное крыльцо с лыжами в руках: надевал шапочку, пристегивал крепления – и по лыжне в сторону леса. И каждое утро Анна из окна тайно любовалась им.

* * *

Начальник строительства Аксенов, перебравшись из Городка, со всем своим жиденьким аппаратом разместился в обычной пестовской избе. Ежедневно там толпились вербованные: мужчины, женщины – в спецовочных ватниках, с топорами, пилами и лопатами.

По деревне ежедневно тянулись с койками, с казенными постелями – всё в рассрочку. Одни громко матюкались, ругали начальство, а чаще – местных «куркулей», другие казались спокойны и терпеливы – колхозницы-солдатки. С малыми детьми съезжались они со всей области, пытаясь найти выход из деревенской гибели. Но из нужды попадали в нужду не менее жгучую. Анна видела это и плакала, когда ученики – дети вербованных колхозниц – ходили по деревне, возмущали местных жителей, прося милостыню Христа ради. Однажды Анна слышала, как второклассник просил у Мурашкиных:

– Тётя, подай хрстаради кусочек...

Поворчав, старуха подала, но мальчишка не уходил.

– А ты иди, иди, – подтурнула Мурашкина.

– Тётъ, на завтра дай, я завтра не приду.

И тётя растерялась – подала... Оказалось, что мальчик во всех домах, где ему подавали, просил ещё и на завтра, потому что завтра он шёл в другую деревню...

Вся пригодная для жилья площадь уже вскоре была забита вербованными. Селили даже в бани и хлева, а вербовщики всё везли и везли под морозом в открытых машинах с детьми строителей и строительниц будущей стройки коммунизма, волжского гиганта.

4

Анна спешила по улице. Несла в бидончике молоко – учителя получали его на ферме по закупочной цене. На этот раз молоко отпускала Морохова. Меркой она черпала молоко и глухо ворчала. А когда налила и распрямилась, то гневно стукнула бидончик на шаткий стол, так что молоко плеснулось.

– Парнишек выганивают, а за молоком прутся!

И Анна, добрая душа, ответила искренне:

– Пусть он ко мне на дом ходит, я с ним буду заниматься.

– Заниматься! – во весь голос возмутилась Морохова. – Выгнала, а теперь – пусть ходит! На-кось, выкуси! – И ткнула кукиш в лицо Анны. – Выкуси! Топерича он работать пойдет!

Молоко выплескивалось из-под крышки. Анна шла, и ей чудилось, что вся деревня тычет в окна кукиши. Она чувствовала себя заброшенной и чужой, потому что никак не могла стать

«генералом». Деревня обращалась с ней как солдат с солдатом. И это надо было пережить – понять, оценить. Да не вдруг.

Анна уже миновала «строительное управление», где стояли машины с вновь прибывшими вербованными, когда услышала голоса вслед:

– Ля, ля, Анька...

– Что молотишь?

– Ей бо, Анька.

Анна остановилась, и в то же время ее окликнули:

– Эй, Анька!.. Ба, ба, Анька, Струнина!

– Тетя Настя, – тихо обронила Анна, и на душе вдруг стало так сиротливо, что слезы сами собой застили свет.

Обнялись как родные, да и то, ведь из одной деревни – из Перелетихи.

– Да как это вы, как! – Анна тормозила тетку Настю. А тетка Настасья Воронина все оглядывалась по сторонам и наконец громко окликнула:

– Катюха! Эй, Кирганиха!.. Сенька, пошукай мать! – И ткнула в спину парнишку – разинув рот, он таращился на Анну. – Анька, черт! А ты, что ты здесь можешь?

– Я? – Анна усмехнулась. – Учителем в школе работаю.

– Ба-тюшки, чур, чур. – Тетка Настя отступила на шаг, склонила голову. – Учи-ительша. Энта!

Анна спохватилась:

– Ой, некогда! Как я рада, как там наши? На занятия опаздываю.

– Да где она? Катюха! Ну, запропастилась.

– Побегу, побегу...

– Беги. Ваши-то ничего... живы.

– А я во-он в том доме живу, в пятом по порядку. Приходите к вечеру.

– От Катюха... Ну, беги, беги, придем...

Вечером они пришли. Сели за бедный стол с самоваром.

– Ну, рассказывайте, как там?

Бабы переглянулись, Кирганиха, вздохнув, сказала:

– Хуже бы, да некуда... А ваши, как и все. Лизавета прихварывает, но всё ж-таки потихоньку работает. Ребятёнки учатся. Верка-то, чай, работает.

– Да ведь все по-старому, – включилась тетка Настя. – Пишут, поди.

– Пишут... – неопределенно ответила Анна. – И как же это вы решились, с детьми?

– Решишься. Уж лишь бы куда. А по вербовке отпускают... Калянов был хорош, а Щипаный – переплюнул: извел. – Кирганиха усмехнулась. – Наладился к солдаткам: не уследишь, так и вовсе беда.

– Кто такой?

– Да председатель.

– Фамилия Щипаный?

Обе вяло засмеялись.

– Прозвали так – защипал. Солодов Михаил – из района прислали...

С тоской смотрела Анна на землячек, она помнила их молодыми – теперь же эти рано увядшие лица были усталы и тяжелы, как осенние влажные листья.

Анна потеряла канву разговора, потому неожиданно спросила:

– Как там дядя Саша Шмаков?

– Шмаков? Ай ты не знаешь? Он еще летось тронулся, в Ляхово возили, теперь дома – все песни по деревне поет.

– Блаженный...

– Как это?! – Анна и ушам своим не верила. – А мне ничего не писали.

– А что писать – одно расстройство.
– Добрый мужик был.
– Чай, всё таскали, судом грозили – что-то не так сделал. Крепился, а как Ольгуха-то скончалась...
– Крестная! – Анна вскрикнула. – Скончалась?
– Не разродилась сердешная... Так вот он тогда и вовсе того... свихнулся. Хоть и не шумливый, а одно – дурак.
Долго молчали, тишину нарушила Кирганиха.
– Хоть бы браги, что ли, со встречей, – сказала она, досадно отодвигая пресный чай. Анну осенило: набросив на плечи платок, побежала к соседке – к сельповской продавщице.
После рюмки исподволь, точно сговорившись, бабы затянули:

Э-э-эх, летят утки, эх, летят утки
И два гуся...

Анна слушала, и песня эта с бурлацким «э-э-эх» отзывалась в душе похоронным плачем по её деревне.

* * *

В бывшем колхозном саду строили энергохозяйство, подстанцию. В глубь леса через болота уводили просеку для опор высоковольтной линии. Из Палкина к Правде вели насыпи для шоссейной и железной дорог. А в конце Пестова уже срубили из бруса пекарню и столовую.

Местный говор обреченно терялся: и «оканье», и «аканье», и другие вариации русского языка – все перемешивалось в нечто однообразное и безликое.

День ото дня становилось голоднее; Городок уже не мог снабдить немалую армию строителей, а строительный ОРС в бездорожье бездействовал. В магазине из-за килограмма хлеба буквально давились, а местные жители взвинчивали цены на молоко и картофель.

5

– Анна Петровна, – как-то необыкновенно доверительно обратилась Людмила Станиславовна, – давайте вместе отметим Восьмое марта. У нас в коллективчике «старушки» все домо-вители, с ними не сговоришься... ну, да и мы по-семейному, а?

– Можно, – как под гипнозом согласилась Анна. Потом и сама удивлялась – с какой бы стати?

...Гостями были двое – Анна да приятель Виктора Василий Аксенов, девятнадцатилетний сын начальника строительства, остальные – хозяйева, Фарфаровские: Людмила Станиславовна, Виктор и Римма.

– Ну, племя младое, – объявила Людмила Станиславовна, когда пришла запоздавшая Анна, – все в сборе, главное – Анна Петровна здесь. К столу, иначе и от голода умереть можно.

– Людмила Станиславовна, не надо меня по отчеству, – тихонько шепнула она, – просто Анной...

– Отлично! – неожиданно громко сказал Виктор. – Анна, прошу, пане, к столу. – И он склонил голову набок по-петушиному, отведя руку-крыло на сторону.

– Э, Виктор, без фокусов, – с одобряющей улыбкой заметила мать.

– Ма-ма? Восьмое марта...

Анне же почему-то подумалось, что над ней потешаются. Она горько смутилась, даже губы дрогнули.

Но и Василий, приглашая Римму к столу, тоже проявил нескладную учтивость.

– Ха-ха-ха-а! – громко засмеялась Римма. – Анечка, Аня, мальчишки-то тренируются в пижоны! Ну, голуби! – Она трясла Анну, тянула за руку к столу, щурила по-кошачьи глазки, запрокидывала рыжую головку, и ее стрекотанье развеселило всех.

Засмеялась и Анна.

– Анечка, да не садись ты с ними рядом! – И новый взрыв смеха.

– Римма, – без нажима произнесла мать – и дочь тотчас успокоилась.

Разлили коньяк. Анна не только не пила коньяк, но до этого и не видела его в рюмках.

– Ну, мужчины, что же вы молчите – ваше слово. – Людмила Станиславовна, как бы недоумевающая, вскинула брови.

Поднялся Виктор, взял рюмку – он смотрел поверх стола и сидящих и говорил, точно обращаясь к кому-то за стеной.

– Я, – начал он, – я пролил десять потов, прежде чем в здешних провинциях достал этот коньяк. Но я достал его потому, что знал, что это – ради женщин. От меня и Василия – с праздником. Пить до дна. – И он аккуратно выпил.

– Как самогонка, – удивленно оценила Анна и причмокнула губами. Все добродушно засмеялись.

Потом завели патефон...

Анна знала, что в компаниях по праздникам поют, пляшут, играют в «бутылочку», словом – веселятся. Здесь же было не так. Украдкой она наблюдала за Фарфоровскими и Василием, и ей казалось, что все-то заняты разыгрыванием заранее известных ролей, что каждый занят собой и выставляет напоказ себя, что... впрочем, в голову лезли выдумки. Виктор говорил отрывисто и мало. Василий негромко ворковал с Риммой, а та, как заводная игрушка, щурилась да смеялась. Людмила Станиславовна точно дремала, улыбаясь, как мать, которая чрезмерно счастлива около своих детей.

Когда же зазвучала музыка, Василий с Риммой тотчас пошли танцевать, и получалось у них складно. Приплясывая «Линду», они точно насакивали друг на друга. Анна с интересом наблюдала за ними, так что и не заметила, как подошёл Виктор.

– Анна, танцевать будем? – обратился он и норовисто вскинул голову.

– Я плохо... танцую, вовсе не умею, не приходилось.

– Ну, это не главное. Было бы желание. – Усмехнувшись, Виктор нарочито резко привлек ее к себе – Анна вздрогнула.

Она действительно танцевать не умела, кружилась с прискоком, сбивалась, но под сильной рукой скоро уловила и ритм музыки, и шаг ведущего.

– А вы, Виктор, здесь работать будете?

– Давай-ка, барышня, без «вы»... Мы ведь все-таки сидим за одним столом и, как говорят у нас на Востоке, рубаем, – он выделил это слово, – рубаем из одного котелка... А работать здесь я не буду – летом мы с Василием поступим в университет.

– Виктор, а вы откуда приехали? – (Он промолчал.) – А я из Перелетихи, километров триста будет.

– Это что, столица?

– Нет, – Анна засмеялась, – это деревня... Виктор, а ты дружил с кем-нибудь? – запросто наседала Анна.

– Нет. – Он поморщился и, оставив Анну, выключил патефон. – Не довольно ли скачек?... Давайте еще по коньяку...

После десяти вечера решили расходиться. Виктор надел кожаный на меху шлем, снял с крючка пальто Анны, чтобы помочь ей одеться.

– Нет, нет, не надо, я сама. – Наивная, она испугалась, что Виктор увидит избитую подкладку, и ухватила за пальто.

Лицо опахнуло морозцем, но морозцем уже предвесенним. Было тихо и чисто, звезды струились белым. Анна улыбнулась и облегченно вздохнула: от вина и танцев приятно кружилась голова. И на душе у нее было хорошо: никакой досады, никаких обид.

Неподалеку вдруг хлестко запели частушки, пели только мужчины, пели вперемешку с матерщиной, пели не так, как в Перелетихе, – отрывисто, резко, на местный лад, на «ё».

– Ну, залаяли, – с усмешкой заметил Виктор.

Анна промолчала, подумав: «Действительно, как лают. То ли дело у нас».

Виктор хотя и вышел без пальто, но Анна рассчитывала, что они пройдут вдоль деревни, как заведено, однако он напрямик шел к дому Мурашкиных.

«Как быть? – подумала она беспокойно. – А если он решит войти в избу?» И торопливо завспоминала, а все ли у неё там в порядке.

– Ну, вот и кончилось Восьмое марта. – Виктор остановился.

– Что делать? Хорошего понемножку... Все кончается. – Помолчали. Анна, потупившись, перебирала варежку, Виктор беспокойно переступал с ноги на ногу. – Виктор, а ты на вопрос еще не ответил... Ты дружил с кем-нибудь?

– Я и теперь дружу – с Василием.

– Нет, нет, не то! – весело засмеявшись, возразила Анна. – А с девушками.

– Я женоненавистник.

– А при чем тут жёны, я о девушках говорю.

– Не «жёно», – проговорил он по буквам, – а «жено», то есть я вообще женщин ненавижу. Спокойной ночи.

Анна недоуменно смотрела ему в спину. Виктор взбежал на крыльцо школы, шумно топнул ботинками и скрылся в темном коридоре.

– Вот это парень! – вслух восхитилась Анна. – Станный какой...

6

А в воскресенье собрались на лыжах. Виктор с Василием – как заправские спортсмены, и лыжи им настолько были послушны, что казалось, парни так и родились с ними. Римма – хотя и в валенках, но в красном ворсистом свитере, в синих брючках и в белой пуховой шапочке с длинными, по пояс, ушами, – выглядела праздничным снегирём. И только Анна в нелепой куртке, которую ей одолжила хозяйка, в сатиновых шароварах, в юбке и в платке «по-бабьи» выглядела матрешкой. Мягкие крепления на лыжах были не по размеру – малы. С первых же шагов она отстала.

А день солнечный, морозный. Снег – голубовато-чист. Накатанная лыжня поблескивала зеркально.

«Эх, дура я, дура, и куда это я лезу, нашла ровню», – думала Анна, копьём палки яростно скалывая наледь под пяткой.

– Что, Анна Петровна?

Она вздрогнула. «И как тебе не стыдно насмехаться!» – вдруг появилось нелепое желание крикнуть, но, пересилив себя, она лишь со вздохом сказала:

– Намерзает.

– Ну, это не главное. Впереди лес и отличные спуски. – Слегка взметнув снег, Виктор красиво развернулся, но ждал, когда пройдет вперед Анна.

– Нет уж, поезжай вперед, я ведь плетусь еле-еле.

Виктор недовольно скривил рот, мощно оттолкнулся палками и красиво пошел к опушке леса, где только что скрылись Василий с Риммой.

Анна поехала следом. Скользила она короткими шажками, смотрела на концы непослушных лыж и уныло думала: зачем, почему едет следом. Надо бы повернуть назад, но лыжи сколь-

зили и скользили – вперед. Так в одиночестве и вошла в лес. Здесь было сказочно-красиво и тихо. Справа за соснячком две какие-то птички наперебой долбили на снегу еловую шишку. Анна остановилась – жаль птиц. «И холодно, и голодно», – подумала она, и самой тотчас как будто стало зябко. Разжала палки и сквозь варежки принялась дышать на руки. Вспомнились деревня и детство на печи. Склонив голову, она чему-то улыбалась – шла и шла... Неожиданно ее осыпало снегом. Она подняла голову – и новая охапка снега свалилась с еловых ветвей на плечи. Раздался восторженный смех Риммы, похохатывали и парни, выбираясь на лыжню из укрытия. Только теперь Анна поняла, что ее удачно подстерегли. В другое время развеселилась бы вместе со всеми, но сейчас шутка показалась обидной, Анна беззвучно заплакала – и слезы мешались с таявшим на щеках снегом.

Дальше ехали медленно, вместе. Грусть и обида постепенно развеивались. Перейдя просеку, выехали на гриву, по которой в ряд одна к одной выстроились палатки: большие, как цирковые шатры, с боков они тщательно были обложены снегом; через провисшие крыши сочился пар, струились дымы из железных высоких труб.

Анна недоуменно застыла.

– Неужели здесь живут? – И представились деревенские бабы с детьми и то, как они дрогнут под брезентом. – Что это, а?

– Публичный городок, – с иронией сболтнул Виктор.

– Как... публичный? – не понимая, переспросила Анна, но уже тотчас гневно вздрогнула. – Как... как ты смеешь!

– Дурак, – спокойно рассудила Римма.

– Ви-иктор... – Василий укоризненно качнул головой.

– Я пошутил, Анна Петровна. Честно... Это обыкновенные жилые палатки, будущее города – обычная картина начала строительства.

Это было сказано так, таким тоном, что Анна поверила – Виктор пошутил.

7

Иногда вечерами у Анны засиживалась Римма. В такие минуты она бывала иной. Анна замечала, что Римма тогда много смеется и пустословит, когда на душе у нее тяжело. В гостях у Анны она обычно забиралась на кровать с ногами, прижималась спиной к горячей стене подтопка, вязала один и тот же рукав какой-то чудо-кофты – и молчала. Но если охватывала тоска, она превращалась в хохотушку и тогда уже без умолку говорила обо всем на свете.

Анна сидела за столом – писала планы.

– Аня, знаешь, я, наверное, скоро уеду, махну в Среднюю Азию... Не нравится мне здесь, да и с матерью не ладим – старая песня на новый лад. – Римма вздохнула и отложила вязанье на колени.

– Не выдумывай, что тебе там? Никого, одна.

– А я и здесь одна... Устроюсь работать, попытаюсь заочно доучиться. А то ни в тех, ни в этих. Два курса окончила да и выскочила замуж... и ни образования, ни мужа. Но учителем не буду, не хочу. Не выйдет из меня учителя.

– Почему ты так думаешь? – Улыбнувшись, Анна повернулась к Римме.

– Да так. Нет педагогической солидности. Мне бы официанткой работать... или в цирке – на зебре верхом. Вот и поеду в Ташкент – в чайхане шашлыки подавать... А за что это тебя в приказе похвалили? – спросила неожиданно.

Анна смущенно усмехнулась:

– Вот, за мероприятие похвалили, а за низкую успеваемость опять оговорили.

– Чудачка! Да ты не ставь двойки!

– А что ставить, если не хотят учиться?

– Заставь... Впрочем, да, что значит – заставь. Нельзя заставить. Необходима общая атмосфера, общая заинтересованность. – Римма помолчала, как бы взвешивая, а то ли она говорит. – Ань, слушай, брось ты к чертям эту дурацкую работу!.. Да и какой ты педагог? Я понимаю так: если учитель входит в класс и ученики не замирают от страха или уважения перед ним, то это не учитель, пиши пропало. В учителе должно быть что-то магическое... Или как Людмила Станиславовна – гроза. А ты – сама как школьница. Пионервожатой, куда бы ни шло...

Дела в школе у Анны шли не хуже, чем у других, но в душе она уже не раз ругала и себя, и работу, поэтому слушала Римму почти равнодушно.

– Мать однажды говорила, что ты для учителя слишком прозаична, обыденна, простовата. – Сдержанно зевнув, Римма добавила: – Правда, я ей не всегда верю, но ведь и она бывает права... Вот смотрю: ты день и ночь занята школой, а она и к урокам не готовится.

– Ну а что, по-твоему, мне делать? – нехотя всё же попытала Анна.

– Не знаю. Я на твоём месте ушла бы из школы – на год, на два, на три.

– Об этом я уже не раз думала. Но уход – не выход. Надо бы повышать общее образование, вот что. – Анна озабоченно вздохнула, поднялась подогреть чайку. – Я ведь даже среди вас какая-то недотепа, недоразвитая.

Римма весело засмеялась.

– Нет, Аня, милая, разницы между нами нет. Разница лишь в том, что мы родились и жили в городе, а ты – в деревне. Мы самые что ни на есть болтливенькие и суетливенькие, языки, знаешь, по-газетному подвешены – и вся любовь. Пройдет год-два, и ты...

– Нет. – Анна досадливо усмехнулась. – Мама-старенькая говорила: с посконным-то рылом да в калачный ряд... Знать, мало закончить педучилище. Нет, Римма, ты во многом права, жаль, что уезжать собираешься. Хорошая ты подруга, привыкла я к тебе...

Вскоре Римма действительно уехала – невесть куда.

8

Весна застала врасплох...

За первую неделю апреля высокие сугробы потяжелели и оплыли. Разлилось, хоть на лодке плыви.

Как-то зашли перелетихинские бабы: тревожно-грустные, они так и не стали похожи на строителей. Повздыхали, пожаловались, а уходя, Кирганиха сказала:

– Нет, Анна, дорога наладится – укатим. Как ни гоже, говорят, а дома лучше... Скоро, чай, и картошку садить.

– А так, как здесь, если вваливать, и дома сыт будешь, – воинственно заключила Настасья. – Уедем, попритчило бы весь и «Гэсстрой», живешь как в западне...

Анна кивала, соглашалась. Ей было жаль своих деревенских, так и не нашедших на чужой сторонке лучшей доли. Невольно вспомнилась кем-то сложенная здесь и распеваемая частушка:

На «Гэсстрое» я работала,
Питалась водой!
Ни хрена не заработала,
Поехала домой...

* * *

Накануне Анна проводила экскурсию – весна взломала на Волге лед. Скрежеща и дробясь, льдины взлезали одна на другую, дыбились, как белые медведи, и, словно обнявшись, медленно уходили под воду.

– Лодка, Анна Петровна, лодка! – дружно закричали девочки.

Действительно, меж льдин затесало и несло лодку. От неожиданности Анна смутилась перед нахлынувшим желанием: сесть бы в эту лодку, и пусть несет и несет – далеко, за горизонты, к морю...

Вечерело. Уже и уборщица ушла из школы. Засиделась только Анна – проверяла сочинения в учительской. Проверяла и удивлялась – опять Волга коварная: по весне ушли под лед трактор и машина с мукой, утонула женщина – бригадой из Городка несли в мешках хлеб для столовой... Обо всем этом писали в сочинениях дети.

Оставалось несколько тетрадей, когда неожиданно вошел Виктор.

– Здравствуй, – дивясь, поздоровалась Анна. Она впервые оказалась с ним вот так, один на один, – и оробела.

– Салют, – ответил он и, слегка вскинув руку, прошел к застекленному шкафу, где на полках хранились подшивки давних педагогических журналов.

Анна отвлеклась от сочинений и в забытьи рассеянно смотрела ему в спину, а он – бесцельно перелистывал журналы. Но вдруг резко повернулся:

– Ну, что ты на меня так смотришь?! Затылку больно!

Анна вздрогнула и обмерла, точно ее уличили в чем-то нехорошем. Она попыталась что-то ответить, как-то объясниться, но окончательно смутилась.

– Ну, ну, я пошутил, – примиренчески сказал Виктор и сел рядом на кожаный диван. – Что ты проверяешь? – Он бесцеремонно взял одну из тетрадей. – «Волга весной» – это интересно, – оценил и небрежно отбросил тетрадь на стол. – Да, весной все цветет: и деревья, и Волга... и ты – цветешь. – Виктор нервно усмехнулся и вольготно откинулся на спинку дивана. – Вон ведь ты какая рыжая стала!

Анна механически прикрыла ладонью щеку, рассеянно возразив:

– Нет, я не рыжая – это веснушки... немного.

– Ну что ты закрылась, так и весну твою не видно.

Он поймал ее руку, твердо отвел от лица. Она хотела сказать решительно, но решительно не получилось:

– Не надо.

– Видишь, какая ты красивая, влюбиться можно, – сохраняя внешнее спокойствие, цедил Виктор и настойчиво влек Анну за руку.

«Смеется, бессовестный! И что смеешься!» – так хотелось с гневом укорить, но опять же лишь робко сказала:

– Не надо.

А он уже обхватил, сжал ее хрупкие плечи, привлек и поцеловал в сжатые губы. Она все же оттолкнула его в грудь.

– Уйди! – выкрикнула громко и, стыдясь, закрыла лицо ладошками. – Уйди, бессовестный, уйди! – тише повторила она, вздрогнув вся, и слезы сами собой поплыли по щекам. И на какое-то время охватило безволие...

Те же сильные руки толкали ее, казалось, в пропасть. Она прятала лицо и повторяла, как если бы и слов других не знала:

– Не надо...

А когда Анна окончательно рухнула в эту пропасть и открыла глаза, то прежде всего удивилась тому, что лежит на диване и что в учительской темно.

– Да что это такое на самом-то деле! – Она мгновенно вдруг отрезвела, рванула, как птица из рук ловца, но было уже поздно. И Анна лишь шумно вздохнула.

Несколько сочинений так и остались непроверенными.

* * *

Виктор приходил по ночам, как лис на жировку. Анна боялась и его, и уединения с ним, боялась посторонних глаз и языков, но изменить что-либо не могла. Она страдала, связь была для нее противной, неестественной, из души так и не ушло гадливое чувство, которое осталось после учительской. Лишь в забытии это чувство как будто исчезало, тогда становилось жаль себя – и она плакала. Не раз решала: последняя уступка. Но приходил он, и она безропотно подчинялась.

Когда же Анна, точно проснувшись, почувствовала себя иной, женщиной, когда взглянула на свет иными, удивленными глазами, когда обновленная, как трава к солнцу, потянулась к Виктору – он неудержимо начал ускользать. Она встревожилась и сама уже искала встреч, а он уходил, как вода через сети. Наконец поняв, что обманута и теперь не нужна, Анна постаралась убедить себя, что во всем сама и виновата. А если виновата, значит, и заслужила, а если заслужила, стало быть, это и есть твой крест.

Даже при мысли о Викторе ей становилось стыдно – за себя.

9

Осыпалась черемуха, отзвенели колокольчики сирени – явилось лето. Не верилось, что учебный год закончен. Настало время учительских отпусков. Но Анна пока работала. Отбив в школе тарифные часы, она днями и вечерами куковала в своей каморке: ждала от мира каких-то чудодейственных перемен, но их не было, перемены происходили, однако лишь внутри её самой.

Однажды ранним вечером на пару с хозяйкой она сидела возле дома на скамеечке. С Волги тянуло теплой сыростью и древесной прелью. Воздух на вкус казался кисловатым, но дышалось легко.

– Баишь, ваши домой уехали? – с погоды перевела разговор Мурашкина.

– Да, еще в апреле уехали. – Анна поморщилась, её слегка подташнивало. – Плохо, а тянет. Говорят, лучше ни картошке сидеть, зато дома.

– И то, знамо дело... А ты чаешь, что наши-те злятся? Думаешь, на приезжих? Нет. Люди все одинаки, Божии. Деревню, сады, землю жаль. Мы ведь испокон веку здесь-тко жили, уютно и всего в досталь. А теперь хошь не хошь, а всё рушится, разор...

– Зато гидростанцию построят.

– Построят... А вот озер, мужики калякают, не будет, поймы тоже, и рыбку изведут. Да что там... – Мурашкина вздохнула. – Не своя воля.

– А у нас вот, в Перелетихе, так... – Анна недоговорила, вздрогнула и оцепенела. Из мурашкинского проулка появился Виктор. Рядом с ним, нет, чуточку впереди шла девушка. Красивая прическа, красивое лицо и одета красиво. Виктор что-то говорил ей, как если бы оправдывался или заискивал...

– Ишь, что рожей, что одежей – взяла, – сочувственно определила Мурашкина.

Анна как будто теперь только и поняла, что Виктор никогда не вернется и что оставаться работать в школе никак нельзя.

* * *

Спустя неделю она отправилась на Финский поселок – туда, где зимой по гриве курились палатки. Там уже построили два двухэтажных из брусьев дома, пять засыпных барakov и целую улицу стандартных финских домиков, поэтому и называли поселок Финским.

В отделе кадров «Гэсстроя» ей предложили место в расчетной группе и секретарскую работу.

– А если желаете, можно и на объект, – сказал инспектор.

* * *

– Что это вы, Анна Петровна, год отработали – и в бега? – крайне удивленная, холодно спросила Людмила Станиславовна

– А я не бегу. – Внешне Анна была спокойна, но уклонилась от встречного взгляда. – Я перехожу на другую работу.

– Куда же это вы? Интересно знать.

– В бетонщицы.

– Ну, милая, какой же из вас бетонщик! Шутить изволите! – Она мгновенно переключилась на игривый тон: – Токарь, пекарь, кочегар.

– Какая из меня вышла учительница, такая выйдет и бетонщица.

Людмила Станиславовна насторожилась:

– Вы к чему это?

– К тому: ведь по моей вине из тридцати учащихся одного исключили, двое остались на осень, а остальные – обозлились.

– Ну, зачем так, Анна Петровна! Вы же прекрасно знаете, что четвертый класс – трудный и не так-то уж и плохо закончился ваш год. Нет, простите, это не главное!

В Анну точно плеснули кипятком.

– Что же главное?! Что? – Анна поджала губы и еще больше подчеркнуто закончила: – У вас всё не главное.

Людмила Станиславовна прищурилась, ответила броско, как бы принимая вызов:

– Однако можно подумать, что я лично или кто-то из моей семьи вас кровно оскорбили.

«Она все знает!» – вдруг поразила догадка; сердце екнуло, оборвалось и запостукивало где-то в животе. А директор, точно усмехаясь, размашисто, по-мужски подписала заявление.

– В районе получите трудовую книжку, там же через банк вам оформят денежный расчет. Но помните: вас могут задержать – не по-моему желанию, после училища положено отработать три года по направлению. Хотя и это не главное, – с иронией заключила она.

Но Анна уже не могла отвечать, молча взяла заявление и, как в полусне, вышла из кабинета.

Глава третья

1

Из отдела кадров с направлением Анна пришла к Соловьеву, к председателю стройкома. Встретил он приветливо, долго смотрел рассеянно, после чего, как будто спохватившись, резко сказал:

– Садитесь... Образование?... Почему учителем не работаете? – Нахмурился. – Да, почему?

На этот вопрос Анна заранее обдумала ответ.

– В школе нет мест, построят новую – тогда и видно будет.

– Ишь ты, как вызубрила... Печатать не умеете. Семьи нет. Где живете?

– В Пестове, квартирую.

– Далеко. Пустая затея, не сможете работать.

– Как это? – Анна смотрела так робко и умоляюще, что Соловьев невольно усмехнулся.

– Так... Ведь придется и задерживаться, как начнем заседать, до ночи. – Он помолчал, побарабанил по столу пальцами. – Вот что, дорогуша, здесь при постройке есть комнатуха. Предназначена она для уборщицы, но наша уборщица с семьей в бараке, так что можно занять. Согласна?

Анна только головой тряхнула, так и задохнулась от счастья.

Он подошел к окну и увесисто постучал кулаком в раму. Из «козла» высунулся шофер.

– Володя, – распорядился Соловьев по-свойски, – перебрось эту девушку из Пестова, помоги, в тети-Машину комнатку... Зайдешь ко мне. – И председатель отчужденно сел за стол, как бы говоря с досадой: все, все – уходите...

Когда Анна, возбужденная переездом, вбежала в подъезд управления, она чуть не вскрикнула от неожиданности: со второго этажа по лестнице навстречу плыла та, которая «взяла и рожей, и одёжей».

Анна не могла сдвинуться с места, в упор смотрела на соперницу и ненавидела эту «смазливую кралю». А Ирина обошла ее, как обходят неодушевленный предмет, даже не обратила внимания, глазом не повела. И такой-то Анна почувствовала себя замарашкой, что от стыда и обиды перехватило дыхание.

«Вот она какая... – наконец опамятавшись, подумала Анна. – Змеюга. Подколотная... Нет. Красивая».

2

В тысяча девятьсот сорок втором году по Ладогe Ирину вывезли из Ленинграда – тогда ей исполнилось тринадцать лет. Сначала Вологодская область, затем Вологда, Ярославль и Рыбинск. До шестнадцати лет детдом заменял навсегда потерянных родителей, после шестнадцати – началась самостоятельная жизнь. Её трудоустроили на завод, но по состоянию здоровья – она росла малокровной и хрупкой – перевели из цеха в заводоуправление рассыльной.

Прошло года полтора, и только тогда на неё обратили внимание: Ирина оформилась, окрепла и не обещала, а уже была красивой. Вскоре она села за секретарский стол главного инженера Лосика. А еще через год от бывшей большеротой и лупоглазой Иришки не осталось и следа.

В сорок восьмом году Лосика как специалиста-энергетика командировали на строительство Горьковской ГЭС. Он предложил Ирине тоже ехать – она согласилась.

* * *

– Нет, нет, Анна Петровна, – девчушка-рассыльная из управления горячилась, – нет, это только кажется так! Ирина Николаевна совсем не важничает и не зазнайка! Она добрая и на работу меня устроила – не принимали. Вот увидите, увидите!

Ругай курьерша Ирину, для Анны было бы легче. Но в то же время в душе она была даже довольна похвалой, потому что женское чутье ей подсказывало, что их с Ириной дороги не разминутся...

Анна перепечатывала срочный доклад.

– Чтоб к двум было готово – кровь из носа! – уезжая в Городок, предупредил Соловьев. И вот время перевалило на второй час, а еще и половины не перепечатано. За работой Анна не заметила, когда в приемную вошла Ирина.

– Здравствуйте, – пожалуй, механически сказала Анна и как-то по-детски опустила руки на колени.

– Здравствуй. – Ирина стояла независимо, свободно. Точно припухшие, слегка подведенные помадой губы еле приметно улыбались.

– А Ивана Васильевича нет, – с какой-то стати доложила Анна, и ей стало вдруг стыдно за себя: она опустила взгляд и упрямо поджала губы.

– А мне он и не нужен, – ответила Ирина, и голос ее, показалось, прозвучал просто и дружелюбно. – Пришла посмотреть на тебя. – Ирина повесила сумочку на спинку стула, села и – ногу на ногу. – Надо же, в конце концов, познакомиться с Анной Петровной, которая считает меня зазнайкой! – Она искренне засмеялась, а Анна смутилась и нахмурилась. – Наша Лисичка-почтальон в донесениях аккуратная!

Ирина лукаво подмигнула. Улыбнулась и Анна.

– Пожалуй, в этом нетрудно убедиться, – согласилась и почувствовала, как отлегла от души нелепая скованность, стало легче и свободнее.

– Думаю, что моя краткая биография уже известна? – Ирина шумно пододвинулась вместе со стулом к Анне.

– Вот уж что нет, то нет.

– Ну! Это недоработка, но Лисичка наверстает. – Ирина взглянула на крошечные ручные часики и поднялась. – Обедать. Все порядочные люди принимают пищу.

– Я – нет. В общем-то я здесь, дома, обедаю, но главное – вот... К двум – кровь из носа! – перепечатать, а я ой-ой! – Анна неловко ткнула пальцем в клавишу. Ирина засмеялась.

– Понятно. Клопов давишь!.. Но это же семечки! Сколько там у тебя? Э, чепуха, минут на двадцать. – Она резко поддернула рукава кофточки. Села за машинку, глазами пробежала по клавишам. – Диктуй.

– Не стоит, Ирина, не надо, я сама, – возразила Анна.

– Диктуй. Не будь паинькой... Э-э, стоп. Так во втором классе диктуют. Быстрее, только по абзацам.

Анна начала читать, а длинные красивые пальцы Ирины ожили, напряглись – и все включились в работу. Машинка смолкала лишь на время закладки листа и снова стучала взхлеб. Анна откладывала страницу за страницей и вдруг, пораженная, сказала:

– Всё.

– Точка. Вот так, Анна Петровна. – Ирина поднялась, нервно поигрывая пальцами – точно змейки с наманикюренными головками. – А теперь – в столовую!

– Пойдем ко мне, у меня и отобедаем, – пытаюсь хоть чем-то отблагодарить, предложила Анна.

– Взятки не беру... Соловьев, говорят, тебя здесь, под бочком, пристроил. – Ирина озорно причмокнула губами. – Ну, ну, и покраснела, не на-а-адо, не на-а-адо... Пойдём, посмотрю, как ты устроена... Он мужчина ничего. – И вновь озорно блеснули ее глаза.

– Честное слово, Ирина, ну что ты... – Анна прямо-таки умоляла не разыгрывать.

– Молчу, Анна Петровна, молчу...

С тех пор нередко Ирину можно было встретить у Анны. Иногда вечера напролет они коротали вместе: говорили обо всем и откровенно, но об одном не говорили – о Викторе. Анна боялась этого разговора, а Ирина, похоже было, и не помнила о Фарфоровском.

3

Из деревни сообщали, что все лето мать на ногах и что чувствует себя сносно, что Алешка после школы в подпасах, а Вера и Борис – Верин первый и единственный залётка – женились, правда, без свадьбы, но живут и не ругаются, что сена для коровы заготовили мало, так что зима впереди тяжёлая... Опять новый председатель – по фамилии Будьдобрый. Нравом крут, но зато мужик справедливый и дело знает...

А строительство ширилось. Рассказывали, что на Волге уже намыли дамбы, отгородили от воды котлован, что там начинают вершиться большие дела.

Между Пестовом и Финским поселком, на окраине того самого леса, где проходила лыжня Виктора, заложили основание каменного города.

В праздники Октября прошел первый железнодорожный состав Поволжье – Правда – Поволжье...

Из Перелетихи писали, что в этом году много белых грибов, как в сороковом, перед войной, – поговаривают, не к войне ли такое...

Но все, все проходило мимо сознания Анны – внешняя жизнь, дальняя и близкая, для нее прекратилась. Она вся была сосредоточена на себе, точно новый мир, новая вселенная сотворялась в ней – и это было главное дело ее жизни, это был ее главный жизненный подвиг, главная жизненная высота, на которую она в состоянии подняться и поднимается. Не умом, а сердцем Анна понимала, что от нее, и только от нее, зависит быть или не быть новой вселенной со всей бесконечностью во времени и пространстве, что от нее, и только от нее, зависит вселенское продолжение жизни, поэтому она не вправе не только оборвать эту жизнь, но даже подумать о таком не вправе. Точно вся она жила в ином измерении – как трава, как дерево, как солнечный луч, и так же, как трава, как дерево, как солнечный луч, она была прекрасна... Хотя внешне мир Анны сузился и замкнулся в стенах стройкома – внутри комнатки, внутри себя. Поэтому и Перелетиха, как Америка, казалась иной, недостижимой землей.

Неопытную и таившуюся Анну и так мучила боязнь-незнание, к тому же в ноябре она почувствовала себя худо. Перебарывая стыдливость, пришлось-таки идти в больницу. Врач, Матвеев Аким Иванович, пожилой добродушный говорун и шутник, вконец смутил:

– Ты что ж это, милка, в поле рожать решила? Не годится, матушка, не годится. Сколько месяцев?... Апрель, май, июнь, июль, – перечислял он, с каждым месяцем загибая палец. – Эка, родить скоро, а она только заявила, – ворчал он. Потом и еще добродушно пожурил, выписал больничный лист и уже внушительно-строго сказал: – Вот, милая, будешь гулять декретный, а ко мне ходи каждую неделю, да смотри, – он погрозил пальцем, – родить в больнице, никаких повитух.

Анна готова была провалиться сквозь пол и все думала, что же ответить, если спросит о муже. Но напрасно она волновалась: Аким Иванович об этом своих подопечных не спрашивал, наоборот, подбадривал: «Роди, милая, авось мужичок – в войну-то много полегло»...

Больничные листы Анна хоронила в шкатулочке, продолжала работать.

* * *

На дворе мороз шалел под сорок – с туманом, с сизоватым рубином звезд. Трещали столбы и заборы, гулко рвались брусчатые стены домов.

В комнатке было тепло, даже жарко, но Анна всё зябла и куталась. Весь дом, всё окружающее её в доме сегодня казалось чужим, заброшенным. Пусто, только стены да стены, всюду темно, и в этой темноте слоняются неприятные духи. Нет никого – до самой Перелетихи. Рядом единственное родное, да и то скрытое... Но почему сегодня это «родное» присмирело, почему так глухо в висках стучит жизнь, а спину ломит, что даже в ложбинке позвоночника ощутимо проступает холодный пот... Почему тускло светит лампочка – темно, одиноко. Хочется плакать, но не понять – отчего: то ли от страха, то ли от одиночества... И Анна плачет. Но вдруг лицо ее искажается: горло стягивает, перехватывает дыхание... Смерть, что ли?

Она испуганно вскрикнула – и очнулась.

«Скорее позвонить», – подсказал внутренний голос. Анна сгребла со стола связку ключей и, придерживая низ живота, медленно двинулась в приемную постройкома к телефону.

* * *

– Ну, ты, роднуля, всех надула! – такими словами и восторженной улыбкой встретила в коридорчике родильного отделения Ирина. – Я думала, ты уже, а ты в новогоднюю ночь решила! Па-а-инька, – пропела Ирина дружески-тепло, так что по телу Анны прошла радостная дрожь.

Они сели рядом, а медсестра робким шепотом предупредила:

– Минуту, только минуту – не больше, а то, не дай Бог, Аким Иванович заглянет...

– К делу, – тотчас, уже серьезно, продолжила Ирина. – Положенное ты получишь, как здесь говорят, опосля, а пока скажи, где твой больничный лист?.. В шкатулочке. Ключ от комнаты мне. Вот ручка, бумага, – она вынула и то и другое из сумочки, – пиши доверенность на получение зарплаты. Все. Твое дело – разрешаться... Ох, ах, па-а-инь-ка, ко-шечка...

* * *

В ночь на первое января тысяча девятьсот пятидесятого года Анна родила сына. И весил он всего два килограмма триста граммов.

И только тогда Анна спохватилась: для ребенка даже пеленки нет. Она пыталась втолковать свою заботу Ирине через замерзшее окно, но та лишь хохотала да пела-повторяла: «Па-а-инька».

Когда же наступил день выписки, то оказалось, что при содействии Ирины постройком купил для Анны детское приданое, да такое, какое вряд ли и на семи волках смогла бы отыскать сама Анна...

Трудно было понять, откуда летит, куда дует: ветер охапками снега так и осыпал. Точно встрепанная ветром клуша, боясь за сына, Анна насакивала на Ирину, а та – хохотала.

– Одни тряпки! – кричала она. – Два триста! Донесем ли?!

– Как-нибудь! – заслоняясь от ветра, отзывалась Анна.

И только когда прошли больничный дворик, добрались до выхода, Анна поняла, что Ирина разыгрывала: перед воротцами стояла служебная «Победа» Лосика.

Пожилой шофер, этакий медлительный хозяин, захлопнул за ними дверцу, сам сел за руль, сдержанно поздравил Анну с сыном, не советовал называть по-бабьи – Валькой или Шуркой, и аккуратно доставил пассажиров к подъезду постройкома.

И дома подстерегала неожиданность: стол был обставлен сладостями, в углу стояли детская ванночка, эмалированный тазик, электрический чайник, грелочка, новые деревянные санки-дровешки с плетеной ивовой корзиной.

Анна не удержалась, заплакала и кинулась обнимать-целовать Ирину. А Ирина поморщилась, вяло отстранилась: было похоже, что ее в одно мгновение одолела грусть.

4

В тихие вечера по будням и в воскресные дни Анна укладывала Гришу в плетеную кошовочку, укутывала-переукутывала, и они отправлялись на прогулку. Мать бегала, смеялась, разговаривала с сыном, а то вдруг слезы застилали свет.

Они частенько прогуливались по дороге в сторону Пестова, а однажды даже побывали в гостях у Мурашкиных...

– А что это вроде Виктора не видно, директорши сына? – как будто невзначай в разговоре спросила Анна.

Вздохнув, старуха ответила:

– Не видно чтой-то, как осенью уехал, так и не бывал – пряткий.

– Неужто здесь остановится... Ертики – блуд по миру сорят, – глухо, как в бочку, отозвался старик Мурашкин. Он лежал на печи – большой, тяжелый, необъемный. Откинута на сторону рука вырисовывалась витым куском каната с увесистым узлом-кулаком на конце. Казалось, что в минуту старик делал один вздох.

– Плох наш дедушко стал, – по-обыденному просто пояснила Мурашкина. – Байт, – она взяла ведро с помоями, чтобы вынести, – байт, что умирать решил. Да уж и то верно – пора...

Еще раз глянув на деда, Анна почувствовала, что вот сейчас же и заплачет от жалости или страха.

– Ересь по миру сорят, – после долгой паузы подтвердил дед сам себе.

Анна скоренько запеленала-закутала Гришу и, кое-как простившись и отказавшись от чая, ушла, чтобы вторично уже сюда не приходиться.

«Поступил учиться», – решила она о Викторе и как будто успокоилась...

Без помощи Анна так замоталась с сыном, так он ее закружил, что она даже удивилась, когда получила из Перелетихи письмо, написанное сбивчиво, с досадой. Её упрекали в том, что на последние два письма она не ответила, что с ноября от нее вовсе нет весточки, что... Впрочем, толком письмо Анна так и не поняла, читала, а понять не могла. Однако в тот же день отправила по почте матери сто пятьдесят рублей, а что до письменного ответа, то все откладывала – руки не доходили... А точнее: в письме надо было лгать, а лгать она не смогла бы.

В последнее время Соловьев почему-то стал более вспыльчив и капризен. Анна помалкивала – ее ли дело; но однажды все же пожаловалась Ирине:

– Что-то мой без конца беленится... Яичко поджарю – будешь?

– Жарь, буду. Кто беленится? Соловьев беленится?

– Ну а еще-то кто? – Анна поставила на электроплитку сковороду, присела рядом на стул. – Не так да не так – не угодишь. То мечется весь день, как взбалмошный, то запрется в кабинете – и ходит, ходит.

Ирина вздохнула – точно опустошилась.

– Работа такая, на нервах... А может, понравилась. Загрызет. – И усмехнулась, как поморщилась. – Они ведь все... кобели. Секретарша для них – рабочая жена... Так-то.

Анна насторожилась, мгновенно припомнив каждое слово, каждый каприз Соловьева.
– А кто ж его знает, право. – Она помолчала. – Нет уж, хватит, ни в жизнь, скорее сдохну.
– Дура деревенская. – Ирина добродушно усмехнулась. Но, поднявшись со стула, нервно обхватила себя руками за плечи, точно подумала вслух: – А может, так и правильно, может, так и надо, не знаю... Как все надоело...

5

Поздний вечер. На дворе первая мартовская оттепель. В открытую форточку тянет весной – запахом сосулек и оттаявшего леса. Но за окнами темно, неприветливо, и Анна с удовольствием отстукивает на машинке десятую страницу «левого» текста.

Пошлепывая калошами, с ведром в руке вошла тетя Маша – уборщица.

– Анна Петровна, – обратилась она, запястьем руки со лба убирая волосы, – там к тебе приехали, спрашивают, похоже – гости.

Анна пожала плечами и, уверенная, что к ней не может быть никаких гостей, пошла в коридор парадного.

– Ой, – ахнула, отшатнулась к двери и закрыла глаза. – Мама...

На чемодане сидела мать, по бокам от неё стояли братья.

И, не обронив еще ни слова, Анна повернулась и убежала – все это было делом секунд. Машинально убрав бумагу, заперев стол, она, как столбнячная, села за машинку... «Да что это со мной?» – сжимая ладонями край стола, возвращаясь в себя, подумала Анна и, вскрикнув: «Мама!» – выбежала в коридор.

Словно крыльями птица, она охлопывала руками мать и братьев – и целовала их.

– Вставай, мама, пойдёмте!

– Погодь, дочка, погодь, не шибко... Я ведь ни-ку-дыш-ная.

Разобрали ношу: обшарпанный чемодан, узел, мешок под завязку и базарную из клеенки новую сумку.

– Вещей-то, вещей! Как папанинцы! Ну и набрали, ну и навязали! – Анна удивленно усмехалась. Но перед своей дверью точно спохватилась, оробела. И в это время заплакал сын. Анну так и вздернуло. А мать враз все и поняла.

– Пошли, дочка, пошли. А ты, полно-ка, что это ты, как лист осиновый, затряслась, до-о-очь.

Ничего не понимая, братья лишь робко переглянулись.

Вещи свалили в угол у двери, но даже не на что было сесть. Анна сбегала в секретарскую, принесла пару стульев.

– Ну, что же вы не раздеваетесь? Что вы как гости! Да что я, вы ведь и есть гости... Надолго ли, мама? – спросила Анна, принимая от матери тяжелое бывалое пальто.

– Да как тебе, доча, сказать – наовсе.

– Вы? Наво все? – Анна отступила-отшатнулась и обессиленно села на кровать. А в глазах такая растерянность, такой испуг, что мать поспешила с оговоркой:

– Да ведь, Аннушка, видно будет, не то и уедем.

Но Анна, казалось, уже ничего не соображала:

– Как это вы, как это наовсе... А жить как, а жить где? Да что это вы выдумали! Завтра же домой! – в истерике выкрикнула она, но уже тотчас как будто и опомнилась: – Господи, что это я, право...

– Дочушка, да ведь я скоро помру, я уж погибая, – вздохнув, сказала мать. И ее спокойное заявление о смерти окончательно отрезвило Анну.

– Хоть бы, что ли, написали. – Анна беззвучно плакала.

И только теперь всполохнулись: Гриша заливался на весь постройком. Анна метнулась к кровати, но на мгновение оцепенела: на нее в упор смотрел Алешка – хмуро, исподлобья. Он не разделся и всё ещё держал в руке сумку, точно собираясь уходить.

– А ты что как индюк надулся? Твоего ли тут ума дело! – сорвалась Анна, но в голосе уже не было прежнего негодования. – Ту-ту-тушеньки, ту-ту... вот он какой у нас... маленький. – Воркуя, Анна вынула сына из кровати. Изгибаясь, он так и сучил ножками и ручками.

– Во дает, как спортсмен, – шмыгнув носом, определил Саня и захихикал. Он уже разделся, бросил свою хламиду в угол и чувствовал себя как дома.

Анна горделиво вскинула голову, повернулась к брату:

– Да, дядя Саша, мы – спортсмены... Подержи нас.

– Дочка, давай-ка, давай мне. – Не поднимаясь со стула, мать протянула руки.

– А это бабушка, баба Лиза, – объясняла Анна, и сын прислушивался.

– Хорош, хорош внучек, – неуверенно сказала Лизавета и, вздохнув, добавила: – А у Верушки двое было, да все сбрасывала.

– Нянька, – искренне удивленный, обратился Саня, – а что это – али твой?

– Цыц, язык-то рассупонил, – строго одернула мать, а Анна, меняя пеленки, с усмешкой ответила:

– Нет, не мой. В капусте нашла...

Поели, развязали узлы, посреди комнаты постелили на троих. Санька и Алешка юркнули под одеяло и тотчас засопели.

– Ишь, уже и пузыри пускают, умаялись родимые, – сказала Лизавета, тихонько покачивая кроватку с внуком.

Затенькала крышка – закипел электрический чайник.

– Садись, мама, чай пить, – позвала дочь. Сели рядышком. – И как это, мама, ты решилась? Дивлюсь.

– Да ведь как решилась? Так и решилась... Сызнова, почитай, семь недель отлежала, вовсе обезножила. Думала, помру. А вот поди ты – Бог милостив, отпустило. Я уж и поднялась. – Говорила Лизавета спокойно, с аппетитом отхлебывала чай, по крохотке прикусывая сахар.

– Бери, мама, больше, наводи сладкого – сахар есть.

– Не бай, дочка, никак и не напьюсь. Пра, отвыкла... Что ли, где достает сахар? – как о великой тайне спросила мать.

– В магазине сколько хочешь, были бы деньги, – с гордостью ответила Анна.

– Благодать-то какая. – Лизавета вздохнула и продолжила прерванный рассказ: – Нинушку у Веры оставила, она уж очень к ней привязалась... Корова чуть не пала – продали. Картошка кончилась. Хоть ложись да ноги и вытягивай... Вот и поднялась. Пока, думаю, оклемалась – надо ехать. Сама-то хоть где умру – ладно, да хоть мальчишки при тебе. Может, и сдюжишь... Они ведь скоро и на ноги встанут, – невольно успокаивая, заключила мать. – Сторицей отблагодарят они тебя.

Анна тоскливо взглянула на братьев – ростом они были одинаковые.

– Ну и жердила будет Санька, не гляди, что младший.

– Не бай, как на дрожжах милый, в отца, чай, помнишь.

– Папа высокий был, – согласилась Анна, и ей только теперь сделалось стыдно за то, как приняла она мать и братьев. – Ты, мама, прости меня, погорячилась я, знаешь, я ведь психопаткой стала...

– Полно, дочка, об чем калякаешь. Другая бы и на порог не впустила. Мыслимое ли дело – трое. Пять ртов на одну шею. Я ведь не дитя, разумею.

Они замолчали, каждая по-своему думая о том, а на что и как будут жить. Потом Лизавета запустила руку за пазуху, достала сверток, тщательно закрученный и связанный.

– На, дочка, три с половиной тыщи – за корову получили.
Снова молчали – и думы их витали вокруг предстоящей нужды.
– До-очь, – положив руку на колено Анны, тихо спросила мать, – как отечество-то, а?
Анна потупилась, слезы сами собой упали на материнскую руку.
– Не надо, мама, об этом, не надо...
– Да что это ты, дочь! – ласково возмутилась Лизавета. – Нешто я тебе чужая! Сама мать – ты моя первенькая и была.
И они обнялись, и заплакали, и выплакались сполна.

6

Из кино шли медленно. Сырой весняк то напористо-ровно тянул в спины, то, срываясь, подхватывал под плащи, подстегивал. По сторонам дороги на столбах раскачивались тусклые осветительные лампочки под жестяными гремучими тарелками – и метались тени, не в силах сорваться по ветру.

– Теперь вздохать поздно. – Ирина глубже в карманы плаща запустила руки. – Не выгонять же их. Оформляй документы, прописывай, ребят – в школу.

– Но у мамы нет даже справки из колхоза, они ведь как беглецы...

– Да чихать на эти справки! – Ирина и возмущалась как будто нехотя. – Ты, Анна, какая-то недотеньканная, что ли. Кто там в паспортном столе? – Она подумала. – Да, Зеленый, Зеленый ли, майор, кажется. Паспорт будет, – заключила уверенно. – Я ему позвоню... Ты смотри другое не прохлопай, – после минутного раздумья продолжила она. – Ясно, что тебя будут выселять, все-таки учреждение. Ни в коем случае не соглашайся на угол. Вас пятеро, как здесь говорят, пять душ. У тебя ребенок, больная мать, братья-школьники. А влезешь в угол – годами не выберешься. – Она недвусмысленно усмехнулась. – Соловьевым ты, конечно, не воспользуешься, а то можно бы... В крайности я своему подскажу. Запомни: здесь не в деревне – здесь все можно... Как говорят, хочешь жить – умей вертеться. Учись, пока я жива! – И Ирина неожиданно хлопнула Анну по плечу.

На перекрестке разошлись. Анна смотрела вслед подруге до тех пор, пока она не скрылась в темноте.

– Вот как, ну и ну: век живи – век учишь, – неопределенно произнесла Анна вслух и строго поджала губы.

* * *

Алешку с Саней без труда определили в поселковую школу – доучиваться. А через десятидневку мать, как божий дар, рассматривала новенький паспорт, первый паспорт в ее жизни. Анна только восхищалась собой, как и мать ею – все так складно получалось.

– Вот тебе и «бочком» да «валиком», во, мальчишки, учитесь! – Анна восторженно смеялась. – Квартиру бы еще «оторвать», на новом бы поселке!..

Она не послушала совета Ирины – выжидать – и вскоре направилась к Кузнецову, к заместителю начальника строительства по кадрам и быту.

Он сидел за зеленым сукном стола: маленький, большеголовый и плосколицый, с беспорядочно вьющимися волосами.

– Пишите заявление, поставим на очередь, – не выслушав, ответил Кузнецов. И только Анна решила пустить в ход мягкое упрямство, как он неожиданно вскочил из-за стола и, хватаясь за голову, закричал: – У нас семьи в палатках живут! А вы в доме – и тоже с ножом к горлу!

А Анне стало вдруг досадно-горько и уже не хотелось упрашивать, хотелось уязвить, осадить – но как?

– Во-первых, я без ножа, во-вторых, вы что это кричите? – Она натянуто усмехнулась. – Можно подумать, что вы сами с семьей в палатке живете, а не занимаете финский домик.

– Я же вам сказал: пишите заявление, поставим на очередь, – уже спокойно или равнодушно повторил Кузнецов...

«Все это пустые слова, а очередь на годы», – размышляла Анна и пугалась безысходности.

А сын куксился, прихварывал, хотя теперь около него были неотлучные няньки. Но не хватало воздуха и покоя.

– Пойду к своему, в его руках тоже сила, – как-то в обед, сокрушенно вздохнув, сказала матери.

– А што, дочка, сходи, пожалуй, он, кажись, ничего, мабудь, пособит.

Анна молчала, молчала и мать, не разумея сомнений дочери.

– Вот так... может быть... – Анна легонько покачивала головой. – Ты, мама, если что, не суди меня: семь бед – один ответ.

Мать что-то гукнула себе под нос и, припадая на больные ноги, отошла подать второе.

7

С утра Соловьев был хмур – с утра «бегал» по кабинету. К нему приходили – он принимал, но каждый раз повторял:

– Аня, по личным я не принимаю, меня нет...

О причине его плохого настроения Анна догадывалась, хотя в подлинности своих догадок и сомневалась. Полгода назад арестовали прораба палкинского участка Смольского – и он как будто канул. И уж совсем недавно арестовали Танкевича – главного архитектора строительства. О Смольском так ничего и не было слышно, о Танкевиче распускались слухи – шпион, с Америкой связан.

Позднее от Ирины Анна узнала, что Смольский и Танкевич – давние друзья Соловьева, вместе они когда-то побывали на Беломорско-Балтийском канале, осваивали в Заполярье шахты. Затем работали на Свири, вместе приехали и на Волгу.

Без друзей Соловьев явно тосковал, а ко всему и в семье у него не ладилось.

Из всех Анне нравился Танкевич – культурный, уважительный, он частенько заходил в постройком к Соловьеву и всякий раз уже с порога приветливо говорил:

– Ну, как наши Анютины глазки? – и угощал дорогой конфетой, как будто специально приносил.

Гуляя с Гришей, Анна не раз видела Танкевича с женой. Красавица, она была годами двадцатью моложе иссушенного и желтолицего, но вечно добродушного мужа. Соловьев же никогда нигде не появлялся с женой. Лишь однажды она заходила в постройком и не понравилась Анне, может быть, потому, что напоминала внешностью Людмилу Станиславовну...

* * *

– Тебе что? – хмурясь, спросил Соловьев, когда Анна вошла в кабинет.

– Вот, на подпись, здесь – по статье спортивного инвентаря... И здесь.

– Что ещё?

– Иван Васильевич, – после короткой заминки начала Анна, – помогите мне с квартирой.

– С какой ещё квартирой?

Он явно был раздражен. Эх, Анна, не вовремя сунулась, но отступить некуда.

– Нам нужна квартира – здесь тесно.

– Квартира... Нет квартир.

Анна потупилась, но не уходила. Соловьев равнодушно осмотрел ее и склонил голову.

– А какого черта ходила к Кузнецову! К кому? – Он недобро усмехнулся.

– А почему я знаю, к кому идти...

– Почему, почему... По тому самому кирпичом. – И это замечание, видимо, на секунду развеселило Соловьева. Красным карандашом он написал на чистой стороне численника «Квартира» и жирно округлил слово. – Нет квартир, – повторил резко.

Анна вздрогнула, потому что ожидала вроде бы лучшего. Глаза ее округлились в испуге, она было повернулась, чтобы уйти, но задержалась и, обмирая в душе, сказала:

– Ведь такая теснота... битком... хоть бы зашли, посмотрели... ни разу не зашли...

Анна была еще слишком искренне проста, чтобы уметь скрывать свои мысли – они отпечатывались на ее лице.

– Зайду, сегодня зайду, – спокойно согласился Соловьев, чувствуя и видя Анну за ее словами...

Улеглись раньше обычного. Анна ждала. И когда в дверь постучали, даже мать создавала видимость, что спит.

С порога Соловьев чуть не наступил на спящих. Он усмехнулся, не дожидаясь особого приглашения, снял пальто, шапку – повесил на гвоздь и бочком-бочком прошел вперед, к столу.

– Да, действительно, у вас тесновато, как говорится, без перегородок, в два яруса...

Анна не представляла, как взглянуть ему в глаза, с чего начать, но оказалось все гораздо проще.

– У тебя найдется чем-нибудь закусить? – спросил он, ставя на стол бутылку водки.

Анна невольно вздрагивала от его громкого, непринужденного говора.

– Есть, – с кивком тихо ответила она и поспешила достать-выставить из тумбочки хлеб, селедку, колбасу, сырки – все, что было заранее приготовлено.

Выпили. Он выпил еще и во время долгой задумчивости машинально взял ее руку в свою, легонько покачал, прикрыл ладонью другой руки и неожиданно спросил:

– Зачем вы сюда приехали?

Анна смешалась, ответила, что на язык подвернулось:

– Жить.

– Ясно, что не умирать... Стройка – не ваше дело. – Он покачал головой. – Эх, не ваше. Они по необходимости, из нужды в нужду, а ты? Ведь ты здесь как слепая. И это первая награда, – кивнул на спящего Гришу. – Отец его был симпатичен, красиво говорил, ну и, бесспорно, ненавидел всех женщин... Ты только не злись, не выкручивайся и не возражай. Все это сказать я имею право. Ты только думаешь, а я уже знаю, о чем ты думаешь и что скажешь... Вам нужна квартира – я знаю. Ты решила, что мной можно воспользоваться, а я тебе дважды в отцы гожусь. – Он вздохнул. Закурил. – Кто тебя этому научил? Кто тебе сказал, что все начальники падкие на своих секретарш? Ирина?

Огорошенная Анна покачала головой – нет. А Соловьев беспощадно усмехнулся:

– Тем более! Уже своим умишком додумалась – поняла материалистическую диалектику. А понадобится еще что-то? В итоге – ни семьи, ни любви. Последняя деревенская баба будет счастливее тебя... Вы родились в деревне – там ваше...

Досада и слезы так и вязали горло, но Анна терпеливо молчала, чутьем угадывала: любые слова – во вред.

– Я, пожалуй, долго в председателях не буду, – точно подумал Соловьев вслух. – Ну а с жильем постараюсь помочь. Только ты оставайся собой, хоть бы на этом уровне попытайся остаться. Да не меряй всех одним аршином – разочаруешься. И в паскудную грязь не влезай: засосет – захлебнешься.

Что он мог ей сказать, вершивший революции и стройки коммунизма, чем он мог её обнадёжить и утешить? Он знал, как должен человек жить, но не знал и знать не мог, из чего складывается человеческое счастье, потому что и сам он не чувствовал себя счастливым ни раньше, ни теперь... В послевоенной экономической и духовной разрухе, когда просто сытый человек был уже вправе считать себя счастливым, Соловьев одно прекрасно понимал: что он не должен, не имеет права лгать, только правда может в таких условиях спасти человека, правда не вообще, а как он сам ее понимал... И Соловьев не солгал, сказав свою правду, поднялся и ушел, оставив недопитую водку, табачный дым, растерянную Анну и беззвучно плачущую мать.

8

Все чаще и дольше засиживалась Анна за машинкой, но нужда опережала. Теперь уже и мать не удивлялась тому, как здесь неумолимо быстро уплывают денежки. Поэтому, когда предложили работать уборщицей в библиотеке – в том же доме, за двумя стенами, Лизавета храбро согласилась, а сыновья охотно обещали помогать.

В месяц сто аванса, двести сорок в расчет – не шутка!

Однажды, покурлыкивая под нос, охая и ахая, влезая на переносную лестницу или на стул, Лизавета влажной тряпицей стирала с полок накопившуюся пыль. Много уже протерла, когда полки вдруг качнулись и поплыли.

На дворе опахло свежим воздухом – поотпустило, но когда Лизавета вошла в комнату, сели на стул, то дышать стало совсем трудно.

– Сынка, Саня! Зови Аннушку, там она, у себя, никак я отхожу... Дочушка... давит, сердце мрёт... мальчишек, Господи, блюди, – наконец договорила Лизавета и безвольно повалилась со стула.

Подхватив мать под руки, уложили на кровать, и Анна побежала звонить. Она заплакала, когда с другого конца провода начали допрашивать: какого пола больной, сколько лет, где работает и что случилось.

Помощь, однако, приехала скоро.

* * *

За семь месяцев, что Лизавета отлежала в больнице, Анна совсем извелась. Мальчишки так и старались улизнуть на улицу, кто-то из них потаскивал из карманов мелочь, кто-то покурил.

Жили на одну зарплату, квартиру не обещали, мать лежала пластом.

Как-то осенью Соловьев сказал:

– Ты, Аня, напиши заявление на имя стройкома, попроси материальную помощь, а то твои соколики совсем пообносились.

Анна написала – и ей помогли. На полученную тысячу рублей она справила обновки для всех.

– Вот как! Тыщу дали! Бочком да валиком! – козыряла сестра перед братьями. – А я зимой-то еще напишу! – искренне радуясь, говорила она в больнице вяло улыбающейся матери.

* * *

Они только что пришли с ноябрьской демонстрации, которую неожиданно смазал первый снег: сразу стало холодно и сыро.

Ирина не замедлила разуться – и на кровать, ногами к радиатору. Анна собирала на стол, пошмыгивая носом, потирала озябшие руки.

– Гляжу на тебя, Анна, и удивляюсь. – Ирина нехотя листала хрестоматию по литературе для шестого класса. – И как ты можешь вот так – одна? Хотя бы какого-никакого присмотрела.

Анна усмехнулась-хмыкнула:

– Вон у меня мужичишко – хватит. Во-о-он он... сынулька-здоровулька. Те-те-те...

– Нет, я вполне серьезно – это же естественно.

– А мне не хочется, – сказала Анна и от своих же слов застыдилась.

– Вот я и удивляюсь... Слушай, я тебе о Гриневе прочитаю – про любовь.

– Оставь, я о нем уже сто раз читала.

Ирина лежала расслабленно, а взгляд ее шало блуждал по забитому хлопьями снега окну.

– Поднимайся пьянствовать! – желая встряхнуть подругу, предложила Анна.

– Вермут? Н-нет, у меня впереди коньяк. – Ирина отбросила хрестоматию в ноги и, легонько стукнув кулаком по стене, сказала-подумала: – Замуж, что ли, выйти?

– В чем же дело? Давай, на свадьбе погуляем!

– Одна помеха: хорошие не берут, за плохих – не хочу... То, знаешь, дурак, то забутыльник, а другой и ничего, да гол безнадежно – сам себя не прокормит. – Она усмехнулась. – Впрочем, как здесь говорят: каки сами, таки и сани.

– Да уж не рисуйся.

– А действительно, хочешь, выйду замуж?

– Это, во-первых, дело хозяйское. – Анна насторожилась. – И за кого же?

– Да есть тут один хмырик... тоже: ни рыба ни мясо. Да ты его должна знать. Ты ведь в Пестове работала. Так этот, директорши...

– Виктор? – невольно опередила Анна.

– Ну да, он. Заявился. Артист! Посмотришь – фигура! А что в этой фигуре?

Как потерянная, посреди комнаты стояла Анна, силилась улыбнуться, но лишь губы вздрагивали. Ирина прищурилась и, высвободив ноги из ребер радиатора, села в кровати.

– Какая же я дура, действительно дура, как здесь говорят, набитая... Гришка-то – Викторович, угу?

Анна в ответ кивнула, склонила голову и отвернулась.

– Ну, только давай без слез. Иди, иди сюда, сядь рядом...

– Откуда же он приехал? – поуспокоившись под рукой Ирины, спросила Анна.

– Извини, но черт его знает. У него ведь не поймешь: где кривда, где правда.

– Он в университете учится...

– В университете? Да ему в школе учиться надо!.. Точно. Это он тебе заливал.

Замолчали, чувствуя, что разговор родился недобрый и что обеим он в тягость, но и хорониться теперь было нелепо.

– Когда-то он возомнил себя будущим чемпионом мира, – продолжила Ирина. – Все бросил, решил «в темпе отхватить мастера», чтобы дуриком получать тысячу двести целковых. Теперь же потолкался среди мастеров, понял, что там он – школяр, вот и решил пока быть первым в деревне, чем последним в городе. Видишь, я о нем знаю больше, чем ты. – Они так и сидели рядышком, обнявшись, и Анне было даже уютно. – Оформляется в УОС, на монтажный участок.

– Ну и дела! – от недоумения Анна даже головой качнула.

– А ты как думала? Все они, Анна, одинаковые. Правда, передо мной он почему-то не рисуется, понимает, что не пройдет... Э, давай пьянствовать! – И глаза Ирины заиграли таким озорством, что Анна, вздрогнув, подумала: «Не шутит ли она?»

– Слушай! – Ирина щелкнула пальцами. – Я его на тебе женю! Хочешь? – (Анна молчала, пощипывая ворс одеяла.) – Ну погоди, друг милый, я те кровушку испорчу! – В прищуре глаз ее блеснул жутковатый холод.

– Зачем так, Ирина, Бог с ним, не надо, да и не такой ведь он плохой.

– Ну!.. Эх и дура ты, Анька. На ней пашут – она пляшет... Давай пить!

9

Квартиру должен был получить сам Соловьев, но на стройке он настоял, чтобы ордер выписали Струниной. Хихикали в кулаки, отговаривали, однако председатель до конца был тверд. А через неделю на отчетно-выборной конференции Соловьев выдвинул категорический самоотвод. Буквально в несколько дней сдал дела, уволился и уехал, говорили, в Воркуту. На прощание он сказал:

– Ну, Аня, хоть добрым словом вспомните... Правда, грех на душу взял: прихватит вас намертво благоустроенная жилплощадь.

И только тогда она поняла, что Соловьев бежал, тем самым избежав ареста.

* * *

Новый год встречали в двухкомнатной квартире «каменного города».

После семи месяцев больницы, ослабевшая, но бодрая и даже посвежевшая мать, точно морщась, улыбалась, покачивала головой, ходила из комнаты в комнату, в коридор, на кухню и в туалет, заглядывала в темную кладовку – все щупала-трогала, спускала в унитаз воду, открывала на кухне кран и подставляла руку под тугую струю воды.

– А-яй, дочь, благодать-то какая! Вот бы в деревню – по хозяйству гоже дело... – Комнаты были полупустые: ни стола, ни стула, но это ничуть не смущало Лизавету. – Полно те, дочь. Было бы здоровье – все будет! – Она явно храбрилась. – А как меня подлечили – в пору хоть молотить!.. Э, милые, думала, что глазоньки закрою, ан нет... Здесь, детки, я погляжу, жить иначе надо – подучилась и я в больнице: слушайся, не хорохорься, делай, что велят, да поменьше советуй, сзади не плетись, а вперед высунут.

– Правильно, мама! Слушайте, мальчишки, учитесь жить. Ждите, когда с рыльца деревенская смазь сойдет, а пока тихонько, бочком – и во князьях будете. А вы как думали! – Анна восторженно смеялась и не замечала того, что не только в словах, но и в манере говорить она невольно повторяет Ирину.

Глава четвертая

1

Чем старше становились братья, тем меньше они походили друг на друга. Внешне Алешка – мать, Саня – отец. В пятнадцать лет Саня был и плечистее, и выше старшего брата. Алешка сутуловат, прыщеват и бледноват, Саня, что твой соколенок, – зорек, румян и свеж. Алешка себе на уме, Саня – говорун, все на люди. В учебе Алешка прилежен, Саня – с первого класса в хвосте. И с деревней расставались братья по-разному: Алешка плакал, переживал утрату, Саня приплясывал, радуясь, что увидит свет белый. Анну Алешка в душе осуждал, Саня вообще не задумывался над положением сестры. Саня полюбил спорт, ничего привлекательного в спорте Алешка не видел. И наконец, Алешка привыкал к новому месту медленно, осторожно, но цепко, Саня же – быстро, легко и безрассудно...

Анна так и работала в постройкоме; мать, поднявшись на ноги, оформилась в ночные сторожа, чтобы днем возиться с внуком; а в сентябре с учеников в токари начал трудиться и Алешка.

Когда Алешка окончил семилетку, было решено учить его дальше. Выбрали с расчетом – строительный техникум. Получив от сестры денег на дорогу и прожиток, он уехал в областной город, но через три дня возвратился ни с чем.

– Не поступил, не сдал, – бычась, известил Алешка, и большего от него не добились, да особо и не добивались.

А получилось так.

В Перелетихе Алешка числился отличником, привык быть в лучших. Но в Заволжской школе скоро понял, что здесь он ни лучший, ни худший – средний. Когда же он потолкался среди поступающих в техникум, то правильно оценил себя и свои знания – ниже среднего. Так что, на удивление секретарши из приемной комиссии, невзрачный паренек еще накануне первого экзамена потребовал документы.

Крепко ему в голову запали слова Анны: «Жди, когда с рыльца деревенская смазь сой-дет». Да и часто слово «деревня» произносилось с каким-то идиотским презрением. «Нет, – думал он, – рано еще, надо погодить – успею. И на Аннины деньги учиться не стану, она и так злится, да и тяжело ей... Работать пойду – стахановцем буду. И тогда уж не скажут: «Ты, деревня!» А дома совру: «Не поступил...»

Вскоре Анна переговорила с начальником усовских мастерских, и Алешку зачислили в штат. Саня с завистью смотрел на брата – рабочий класс! – и от досады швырял учебники в стену.

2

Временные мастерские с небольшим хозяйственным двориком размещались на высоком берегу Волги, правда, ощущение высоты было ложное – глубокая лохань котлован делала берег высоким.

Дни и ночи в этой «лохани» трудились сотни, тысячи строителей. Казалось, что люди ничего не делают – суетятся, да и что может сделать маленький человек в такой прорве. Но проходила неделя – и рисунок на дне «лохани» заметно менялся.

Алешка любил смотреть сверху, от мастерских, – ему нравилось единым взглядом охватывать панораму строительства.

Ночами котлован полуслепо гудел: завывание экскаваторов, насадный храп груженых МАЗов, металлический скрежет и стук, рокотание вибраторов, сигналы кранов людские голоса – все это сплошным гулом слышалось уж задалеко от котлована. Опоясанный электрическими лампочками и прожекторами, котлован действительно напоминал адскую посудину, в которой клокотало и кипело варево булькало и брызгало огнем-то всплески бензорезов электросварки.

Люди говорили о зумпфе, перечисляли блоки, при разговоре указывали рукой туда, где будет основное здание ГЭС, а где – водосливная плотина и шандоры. Но Алешка пока не мог и не старался уяснить, где что есть, где что будет – ясно, будет.

Иногда вот так на берегу он неожиданно вспоминал Перелетиху и Имзу. И тогда почти одно и то же навязчиво думалось и рисовалось: сверху, от деревни, точно командующий при сражении, в черных бостоновых брюках, в белой рубаше с закатанными рукавами, слегка запыленный, он, Алексей Струнин, смотрит вниз на Имзу: там крупное строительство, возводится Перелетихинская ГЭС, а он – руководит этим строительством... И всякий раз Алешка усмехался над собой и спрашивал: «А что, если бы спросили: ну, Алексей, будем строить Перелетихинскую ГЭС?» Но даже в мыслях жаль было разрушать тот заповедный уголок детства, и он отвечал самому себе: «Нет, не будем строить Перелетихинскую ГЭС».

Иная картина отсюда открывалась днем – днем котлован утрачивал ночную таинственность: весь он лежал как в пригоршне, окольцованный дамбами, колючей проволокой и вышками, а понизу – морозильными галереями. Утром сюда в дружеском окружении овчарок и конвоиров с автоматами, казалось, бесконечным потоком стекала вольная-брезентовая и бушлатная армия заключенных: бригадами, по пяти в ширину, они по часу, по полтора понуро шли, образуя единый строй, единую с вольными трудовую колонну. Казалось, вот сейчас в заполнится котлован, но живая масса вливалась в него и точно засасывалась в щели... А после пяти снова, только в обратном порядке, текли и текли бригады строителей коммунизма... Но заканчивались земляные немеханизированные работы, и бушлатная армия от головы до хвоста становилась короче и короче.

– Смотришь... впечатлительно, – негромко сказал Староверов, токарь-универсал, у которого в учениках был Алешка. Он не слышал, как подошел мастер, – засмотрелся ученик да и задумался. – Смотреть-то смотри, да не попадись сам – на пересылках без мыла бреют.

– А что, если убежал бы кто? – спросил Алёшка.

Староверов помолчал, закуривая.

– А куда бежать – кругом колючка... Или отловят и тогда добавят три года, или шлепнут – при попытке к побегу.

Алешка нахмурился, правда, ему хотелось сказать: «Ну и правильно, иначе с жульём и нельзя». Но он обмолвился – промолчал.

– Шлёпнут... Как это? А кто же отвечать будет?

– Так... Бух – и готово. – Староверов горько усмехнулся. – И отвечать никто не будет – сактируют, а стрелку премию дадут... Поживешь – узнаешь.

– И почему это мы такие добренькие, дураки? – рассудительно-серьезно сказал Алешка. Староверов хмыкнул.

– А это как, понять как?

– Так. Когда война-то кончилась, эх, сколько ведь пленных фашистов было: не отпускать бы их, а вот сюда, в котлован, да ломики с лопатами в руки – паши, милый...

Как-то недоверчиво покосился Староверов на Алешку.

– Так ведь они и пахали; может быть, не в полную силу, но пахали. Да и не надо забывать, что и наши пленные на Западе оставались.

– В том-то и дело! – с досадой воскликнул Алешка. – Мы – победители, и наши оставались!.. А у меня вот отца убили... А убийц домой проводили. Да из них надо бы «сало» жать до последнего вздоха!.. Нет, простачки мы, дураки.

Староверов обнял ученика за плечо, легонько притиснул, и печаль, глубокая печаль отразилась на его лице.

– Я ведь, милоч, успел и на фронт – знаю, что это такое. Только, Алеша, не надо быть жестоким, ведь и у немца дети, и там были и есть сироты. Зло посеешь – зло и пожнешь... Вот разобраться бы, почему немцы и славяне друг друга уничтожали, кто третий, которому такая бойня понадобилась, – это да, вопросец занятный, задача с двумя неизвестными... Авось ты и разгадаешь загадку. – Староверов сплюнул под ноги горечь. – Пошли. Начинать пора...

Станки гудели то ровно-пронзительно, то перегруженно-надсадно. В одном углу мастерской, отгороженный щитом, трещал и светил в потолок электросварщик, в другом конце за верстаками гремели слесари... Двухстворчатые широкие двери были настежь: осенний ветер-сквозняк вытягивал вон пыль и сварочную копоть.

С тесовых бурых стен призывали плакаты: «Соблюдайте технику безопасности!», «Выполним пятилетку досрочно!», «Труд облагораживает человека». Алешке особенно нравился плакат «Труд облагораживает человека», только вот он не вполне понимал, как это – облагораживает.

Ученик уже самостоятельно мог вытачивать простые детали, и получалось у него неплохо, но пока в основном он присматривался к работе, следил за чистотой станка и подносил заготовки.

– Сначала проходным, – бормотал Алешка, сгоняя стружку с шестигранника. – Теперь отрезным, головка десять миллиметров. – Он отжимал суппорт, поворачивал нужный резец – и болт готов, только резьбу нарезать. Перебросив с ладони на ладонь горячую заготовку, Алешка клал её на станину. Положил пятый, когда из конторки пришел Староверов.

– Ты что их выстраиваешь, – сказал с усмешкой. – Пусть себе и падают в корыто. Ну-ка. Алешка отступил, подумав: «Скорей бы на разряд сдать».

– Учись, пока я жив. – Староверов перевел сцепление на полные обороты. Станок, казалось, вот-вот и развалится. Лиловая стружка, ломаясь, летела в стену и потолок, а болты один за другим падали в корыто. – Понял?! Но тебе так еще рано... Поднеси заготовку.

Алешка сходил, принёс и тотчас огорошил Староверова новым вопросом:

– Дядя Вася, а почему заключенных так много? – Он и сам по-своему смог бы ответить на этот вопрос, но ему хотелось знать мнение мастера, да и любят старшие, когда им вопросы задают.

– Почему, говоришь... Да ведь время такое, – нехотя отговорился Староверов. – Через одного – судимые.

– А почему?

– Потому... Сам догадаешься. Иди зубри уроки, а то двоек нахватаешь, как собака блох... «Ишь – «потому», за дурачка, что ли, меня считает», – подумал Алешка.

В курилке стоял грубый длинный стол, с обеих сторон его – шаткие, лоснящиеся черным скамейки, стены в гвоздях, а на гвоздях сетки, сумки и котомки с обедами. Здесь обедали, рубили «козла» навылет, во время холодов грелись и курили, травили анекдоты, а иногда, покуривая, говорили такое, к чему Алешка прислушивался настороженно, за что не любил и боялся курилку.

Вздыхнув, он достал из котомки несносную алгебру.

* * *

Трудно работать и учиться, утомительно, но Алешка решил-зарубил, что должен учиться, что иначе никак и нельзя, а почему нельзя – да кто ж его знает.

Когда он пришел в вечернюю школу, то растерялся: до нелепого странным казалось, что за партами сидят взрослые девушки, парни и даже мужчины с глубокими залысинами. И уроки

здесь готовили как-то на ходу. Иногда думалось, что вечерники не знали и того, что и как там в учебнике, но отвечали обычно спокойно и оценки получали хорошие. «Двойку бы за такой ответ», – не раз думал Алешка. Первое время ему казалось даже, что сюда, в школу, после работы, как в клуб, ходят отдыхать. Действительно, иногда отдыхали: утомленный за день работой кто-нибудь засыпал, уронив голову на парту, и уснувшего не будили – так было заведено, пусть отдохнет.

Видимо, во время безумно жестоких войн погибают не только отдельные люди, погибает сама человеческая природа – и в целом природе это небезразлично. По крайней мере, в конце сороковых и начале пятидесятих годов резко проявились женские и мужские начала – лихорадочно восполнялось утраченное: в великой неустроенности и нужде, если не сказать нищете, женщины отчаянно рожали. Матери-одиночки несли младенцев в ясли, а сами в поте лица зарабатывали на хлеб и молочишко, и никого не удивляло, что женщина в брезентовой робе или в заляпанном раствором комбинезоне бегом в обеденный перерыв спешила кормить младенца измятой усталой грудью... А мужчины – и те, которые прошли фронт, и те, кто переживал войну в тылу, – ринулись учиться. И тогда всем казалось, что именно это спасет и возведет свинцом иссеченную нацию. Однако велики были утраты, ко всему тогда уже началась очередная, рассчитанная по крайней мере надолго война – холодная, хотя и не менее разрушительная.

Алешка чувствовал себя стесненно и, чтобы хоть как-то утвердить, закрепить себя, старательно готовил уроки – к нему даже обращались за помощью. Он вдохновлялся, но его, как правило, останавливали:

– Хватит, хватит, воды не надо, Волги хватает...

Особенно Алешку притягивал Иван Ермолин. Было ему двадцать четыре года, но числился он в ветеранах-«старичках» – побывал на строительстве Свирской ГЭС и здесь работал бригадиром арматурщиков. Учился Ермолин легко, часто пропускал занятия, но еще чаще спорил с учителями.

И однажды Ермолин окончательно потряс Алешкино воображение.

– Слушай, Иван, травани на литературе, а то ведь наизусть будет спрашивать, – обратился один из тридцатилетних восьмиклассников.

– Не понимаю, товарищи, зачем нам учить наизусть, ведь это не присяга... будто мы дети, – видимо, одобряя насчет «травануть», сказал тяжело дышавший от полноты милиционер Корнев.

Их поддержали, и Ермолин согласился.

Людмила Петровна – учитель русского языка и литературы – уже открыла журнал, Алешка приготовился поднять руку, когда кто-то осторожно спросил:

– А что нам задавали?

Людмила Петровна вскинула голову.

– Стихи, наизусть.

– Плохие стихи, и учить не стоит, – спокойно сказал Ермолин, а Корнев солидно подкашлянул.

– Стихи как стихи, мне лично они нравятся, – возразила учитель.

– Или у вас плоховатый вкус, или вы не искренни...

Все притихли, уже уверенные, что опрос можно считать законченным.

– Было бы вам известно, Ермолин, о вкусах не спорят. И надо доказать, что стихи – плохие.

– Стихи говорят сами за себя. – И Ермолин взялся вычитывать действительно бесцветные, казенные строчки. – Ну что это? Стихи на день, политтратат.

– Да, не пушкинские, ясно, однако ведь трибун... – Людмила Петровна смущенно улыбнулась, но тотчас атаковала: – Ты, Ермолин, любишь спорить, отрицать, а взял бы и попытался сам написать – ведь не получится.

– Ну, здесь вы не правы – каждому свое. А впрочем, я пишу стихи, может быть, и не хуже.

– Вон как! – Людмила Петровна кокетливо всплеснула брови. – Так прочтите, а мы послушаем и оценим.

По классу прошел шумок: легкое недоумение, гордость за товарища. И только Алешке было не по себе: он боялся за Ермолина, ему казалось, что любое сопоставление немислимо и что вот сейчас уважаемый всеми товарищ и вляпается.

А Ермолин кашлянул в кулак и спокойно начал читать:

Гуси-лебеди пролетели.
Чуть касаясь крылом воды.
Плакать девушки захотели
От неясной еще беды...

Алешка не верил ушам своим, точно под гипнозом тянулся он с парты... Застенчиво опустив глаза, молча стояла Людмила Петровна – она все понимала. И тихо, тихо было в классе.

Вот он, вот он – домишек ряд,
Не пройдешь, не проедешь мимо.
У окошек рябины горят,
Точно губы моей любимой...

На Алешку наступала Перелетиха. Он смотрел на Ермолина и физически осязал силу его очарования; недостижимое превосходство – человек сам сочиняет стихи!

3

Воскресный день выдался солнечным, десятиградусный мороз только взбадривал, и многие шли прогуляться и поболеть за быстрых, выносливых лыжников.

Гриша ехал в санках, понукал, чтобы катили бегом. Но мать все о чем-то думала и бегом не везла. Бабушка, впрягаясь, иногда трусила по укатанной дороге, но из бабушки рысака не получалось.

– Бегом, бабушка, бегом! – весело требовал внук, но Лизавета и так чувствовала, что лишнего похорохорилась. Задыхаясь, она повторяла:

– Тоже мне туда, кляча... пра, кляча.

Когда они подошли к Дому культуры, соревнования уже начались. От плаката «Старт» одна за другой суетливо по лыжне убегали девочки.

– Саня! Сынка! – окликнула мать. – Поглянь-ка, Аннушка, парнища-то наш!

– Что? – рассеянно отозвалась Анна.

Веером распуская лыжи, как на коньках, подъехал Саня.

– Скоро старт! – выпалил он. – Болейте за меня. Семнадцатый номер – первым приду! – Он был возбужден так, что и на месте не стоялось.

«Парень будет что надо», – подумала Анна и вздрогнула, тотчас забыв о брате: без шапки, в легком свитере, в высоких гетрах с красными кольцами по икрам взбежал по широким ступенькам и скрылся за тяжелой дверью Дома культуры Виктор. И плеснулись обида, досада, ненависть – и что-то тягучее, обволакивающее душу в усталость, опутало Анну. Растерянно оглянулась она на сына – он беспечно помахивал прутиком. И ей стало страшно, но не оттого,

что все так получается, а оттого, что получается именно так – противостоит: сын от отца в двадцати шагах, а они друг друга не видели сроду. «А вдруг?..» – подумала Анна и удивилась, как это раньше не приходило ей в голову такая мысль.

А Лизавета, следя за сыном, утешалась:

«Слава тебе, Господи, не чаяла дожидаться... Эх, Петруша, посмотрел бы ты – вылитые, кровиночки». И, как это обычно бывало, моментально рисовалась другая картина: жив муж, деревня, дети взрослые, здоровые, трудолюбивые – и она среди них, как заботливая наседка... Но при воспоминании о деревне и на этот раз, как и всегда, сердце Лизаветы облилось кровью: Верушка замужем, Верушка дома, Верушка – отрезанный ломоть; а младшенькая-то, младшая, Нинушка, ведь так и растет сиротой, отца и в глаза не видела, и мать сгинула. И тут хоть разорвись надвое – ничего не поделаешь: здесь-то два сына.

Лизавета тоскливо взглянула на дочь – и все ее зримые мысли рассыпались.

– До-о-очь, ты что это, как холстинка, бе-елая? Что ли, нездоровится, а?

Анна очнулась.

– Да. Зря пошла. Со вчерашнего, с похмелья...

Действительно, накануне вечером выпили чуток – по-семейному отметили первую Алешкину зарплату.

– А мы, дочь, уже в обед, клин клином...

Быстрее и сноровистее, чем девчушки, уходили со старта юноши. Но когда судья отмахнул Саню, он так рванул вперед, что вокруг одобрительно заушали. Радостно забило материнское сердце, и Лизавета выкрикнула, насмешив близстоящих болельщиков:

– Давай, Санюшка! Обгонь их, жми, сынка!

Саня оказался прав – пришел он первым, слегка склонившись, но все так же легко и стремительно. Восторженно свистели, кричали, подбадривая, а мать, волоча за собой санки с внуком, кинулась навстречу. Саня тяжело дышал, но весь лучился счастьем.

– Я же говорил... первым пришел!.. Где Аннушка?

– Отошла на минуту и провалилась... А ты иди, иди сынка, с парой зашелся, оденься, где твое пальто? Застудишься.

– Да я это... хочу, – переплясывая с лыжи на лыжу, едва выговорил Саня. Отстегнул дужки креплений, бросил палки, рукавички и убежал к тесовым сараям. Веселая струя уже зазвенела по мерзлым доскам, когда он услышал голос сестры:

– А я и не виню тебя и женить на себе не собираюсь... Ты на сына взгляни, пусть он на тебя посмотрит... ведь сын.

Саня перестал шуметь. «С кем это она?» – замирая и стыдясь, подумал он.

– Не играй на чувствах – бесполезно.

У Сани и челюсть отвисла – голос тренера.

– Ну как это можно? Не понимаю!..

– И очень хорошо, что не понимаешь, – перебил ее Виктор. – Оставь меня, тем более – сейчас, – заключил он, но почти тотчас добавил: – Можешь передать Ирине, что в свахи она жидковата, язык не тем концом подвешен.

– Да ты, ты... нехороший, ты Ирины и не стоишь!

В ответ тонко под пробкой засвистела лыжа.

«Особой мазью натирает», – определил Саня и, точно ошпаренный, выскочил из-за сарая – вдруг увидят!

4

Когда Алешка пришел с комсомольского собрания, Анна с сыном спали, мать дежурила, а Саня на кухонном столе ремонтировал племяннику заводную машину, из-за поломки которой

реву было до самого сна. Ни книги, ни школьные дела не увлекали Саню так, как спорт да вот еще «ковыряние в технике». Он уже отремонтировал и патефон, и будильник, да так, что с тех пор они зажили спокойной жизнью.

– Ты что долго? – встретил Саня.

– Комсомольское собрание.

– И сдалось тебе... – Саня поскреб затылок.

– Балда... И тебе пора бы в комсомол. Жизнь-то наша впереди – расти надо, а растут с малого, потихонечку... – Алешка стянул с ног сапоги и выпрямился. – Вот погоди, я еще и секретарем комсомольской организации буду.

– Хе-хе, секретарь, глянь, хе-хе, секретарь.

– Хе-хе, – передразнил Алешка. – Меня уже в редколлегию стенной газеты выбрали – хе-хе?

– Ну ладно, – уступил Саня. – Принес?

– Принес, в кармане, – недовольно буркнул Алешка, стягивая с плеч пропитанную маслом и грязью куртку.

– Вот хорошо, теперь дело пойдет... Еще принеси два подшипника – таких. – Саня показал на солонку.

– Может, тебе «Дип-двести» принести?

– А что это за «Дип-двести»? Тащи.

– Токарный станок. «Дип» – догнать и перегнать, – с достоинством ответил брат. – Ну-ка, полей тепленькой.

– Ты не смейся, – приговаривал Саня, поливая из чайника. – Погодь, смастерю такую штучку – ахнешь!

Алешка молчал, тщательно намыливал лоснящиеся руки, думая о том, что работа у него все же не та, простоишь за станком, как Староверов, пятнадцать лет, а так и останешься всего лишь токарем. Старайся не старайся – всё токарь, разница только в зарплате. И работа твоя вроде бы никому не нужна, нет, работа нужна, а ты – так себе...

– Лех, – глянув на закрытую дверь, негромко сказал Саня, – Лех, а я знаю, кто Анну, ну, кто Гришкин отец...

– Кто? – перебил брат, щуря намыленные глаза.

– Ну, знаю...

– Бреешь.

– Ни, не брешу, ей-богу.

– Кто?

– Тренер – Фарфоровский. Отчество-то Викторович.

– Бреешь!

– Бреешь, бреешь, сам бреешь! – взъярился Саня. – Своими ушами слышал в воскресенье. Они разговаривали...

– А что же он тогда не женится на Аннушке? – Алешка быстро ополоснул и вытер лицо. – Ведь Гришка-то его!

– Его. Только говорит, валяй на все четыре.

– Во гад! – Алешка сел на табуретку.

Саня не понимал, почему так злобно настроен брат, но чем больше Алешка негодовал, тем настороженнее становился и Саня.

– Да ты, балда, понимаешь, что это же не по-советски, аморально, значит! – выкрикнул Алешка в лицо брату и, спохватившись, продолжил тише: – Ведь это все равно как если бы наш отец был живой и мать бы бросил вместе с нами. Да таких гадов сажать надо!.. Аннушка – дура! Врезала бы ему по хारे!

– Ты, Леха, с папанькой не равняй, он на фронте погиб, он наш, а это так... А может, она сама. – Теперь уже и Саня не улыбался, а кончики его ушей покраснели.

– Сама, сама, – огрызнулся Алешка и, поразмыслив, неуверенно предложил: – Давай отметелим его.

– Отметелишь, хе!.. Он нас одной ручкой обоих упахтает.

– Или женись, или – кольями...

– Нет, подкараулить ночью, – заговорщически поддержал Саня. – А если так – дружков соберем.

– Нет, мы его сами, гада, за сестру. Мы его косорылым, гада, сделаем... Только так, чтобы не узнали... – И кулаки сжались, и слезы навернулись на глаза от бессильной досады: чувствовал Алешка – ничего не сделают.

Братья помолчали.

– Все, я боле лыжами не занимаюсь, – точно отсёк Саня. – Не буду у него заниматься. Займусь боксом, чтоб – раз! – и с копылков! – Саня неуклюже ударил кулаком воздух.

– И я тоже боксом займусь, – решил Алешка.

– Уж мы тогда ему ввалим! – вспетушился Саня, поблескивая чистыми глазами. – Эх и ввалим!

5

По вторникам и пятницам в фойе Дома культуры тренировались боксеры. Здесь ни ринга, ни тренировочных снарядов – пять пар боевых перчаток, «лапы» да малоопытный наставник.

– Хорошо, – одобрил наставник. – Отдохни.

Саня вяло улыбнулся и зубами начал развязывать шнурок перчатки. А из головы не выходила Ирина. Он то досадовал на себя, то нервно усмехался. Стоило прикрыть глаза, как тотчас и ощутил губами не влажную кожу перчатки, а бархатистое плечо Ирины... «Ну и лопух, вот уж да... Но Леха, Леха, кажись, крутит с ней... Сама, говорит, напрашивается...» Саня рванул зубами затянувшийся в узел шнурок. Он поднял голову и в настенном зеркале увидел отражение брата – с пропусками, но на тренировки все же ходит и он.

– Ты уже? – спросил Алешка.

– Нет.

– А что злой? Или в нюх получил?

Подошел тренер, поздоровался.

– Разминайся, Алеш, с братцем поработаешь, ему в воскресенье выступать.

Тренеру нравились братья, хотя из старшего – он это знал – боксера никогда не выйдет. Старший брал хладнокровием, работал на выживание – этого, правда, не хватало младшему.

Разминаясь, Алешка старался ни о чем не думать, но мастерская преследовала и здесь: работа на станке, лицом в стену – до того это надоело, что порой он реально чувствовал, как сам превращается в станок для изготовления болтов. Болты, болты – одно и то же, до боли в глазах, изо дня в день. Как-то исступленный Алешка сказал мастеру, что болты ему надоели и делать их он не будет. Мастер ответил: «Будешь, куда денешься. Это тебе не в колхозе». Алешка замолчал – и вновь все те же болты. А ему хотелось работать на виду – к Ермолину в бригаду, которая не сходила с Доски почета. И чтобы сблизиться с бригадиром, Алешка систематически писал стихи: получались первые строчки – и стопорило. Но настойчивость и труд выдавали строку за строкой, которые уже казались пропуском к Ермолину...

Братья надели перчатки.

«Ну, я тебя нарисую», – нервно играя рукой, подумал Саня.

«Злой, как пес», – отметил Алешка, украдкой поглядывая на брата.

Тренер хлопнул в ладоши. Они пожали друг другу руки, и Алешка понял, что Саня будет работать – бить в полную силу.

«Может, что случилось», – только успел подумать он, как Саня чисто провел серию ударов.

– Брек! – крикнул тренер. Чтобы охладить, развел братьев, дал обоим советы и вновь хлопнул в ладоши.

Саня напирал. Алешка же не только сдерживал натиск, но и постоянно высверливал лазейку, стараясь как бы протиснуться между перчатками, отвлечь внимание, заставить раскрыться.

– Резче, резче! – прикрикнул тренер. – Иди на ближний!

И Саня решил достать прямым ударом. Но в тот же момент пол под ним качнулся. Саня шагнул в сторону, еще, еще – и рухнул на колени. Алешка выждал, подстерег.

– Что, напоролся? – помогая подняться, укорил тренер.

Саня тряхнул головой – в глазах прояснилось: в нескольких шагах стоял Алешка с оплывшим глазом...

– Не занимался век и не буду, – уже на улице сказал Алешка.

– Что это? – все еще как во хмелю спросил Саня.

– Дикость. Дикий вид спорта. Вот «фонарь», а что могут подумать? Тренер ведь справку не даст. Да и мозги мне еще пригодятся.

«Сейчас спрошу», – решил Саня, но брат опередил.

– А ты что сегодня злой, как бобик?

Саня отмолчался, но через минуту не выдержал – спросил:

– А ты с Ириной того... крутишь?

– А тебе что? – холодно ответил Алешка вопросом же.

– Да так... она вроде бы ко мне ластится.

– Индюк, пенек, балда! Я ее на шаг не подпускал и не подпущу... Нет, ты за кого меня принимаешь! В восемнадцать лет я жениться не намерен, а так – никогда! Ты пойми, это же грязь... И ты не связывайся с ней. Что от нее проку? А то – Фарфоровский...

Но Саня не слушал брата, он чувствовал, как радостно бьется сердце, и ему казалось, что вовсе не от нокаута позванивает в ушах и покачивается земля под ногами.

– Нет, нам нельзя избивать друг друга. – Алешка дружелюбно ткнул брата в бок. – И бить Фарфоровского теперь нельзя. Его, видишь, сама жизнь избивала.

– Да... А жаль мне его, – ответил Саня, – он мужик в общем-то ничего.

6

Когда братья поверили, что они уже подготовлены вершить правосудие, на монтажной площадке произошел несчастный случай.

Монтировали башенный кран. Уже начали подъем. Виктор стоял возле лебедки, думая о том, что вот снег и сошел – не скоро теперь освободят от работы на сборы... Безразлично и рассеянно смотрел он на подрагивающий трос, медленно вползающий на барабан. Весело пощелкивала «собачка».

– Витек! – окликнули его. – Стукни дрыном по тросам, а то рванет!

Тросы, соединявшие лебедку с «мертвяками», где-то захлестнуло, и они не натягивались. Неожиданный рывок опасен при подъеме.

Виктор оглянулся по сторонам, но, не видя ничего подходящего, подошел и ногой топнул по тросам.

– Куда ты, твою мать!.. – не успел кто-то выкрикнуть, как лебедку слегка рвануло, крепкие тросы вытянулись – Виктор упал навзничь, ногу выше щиколотки захлестнуло удавкой.

Пока стравливали натяжку, рубили тросы – подспела и «скорая помощь». Бледного, с закушенной до крови губой его увезли в больницу.

– Я ж говорил: монтажника из него не выйдет, думка не о работе, – хмуря густые брови, сказал бригадир-хохол.

* * *

Корпуса новой больницы удобно и живописно размещались на окраине поселка. Где-то здесь, тогда в лесу, Анну осыпали снегом. Лес повырубили, но внутри больничного двора осталось с десятков, право же, сказочных сосен – верно, дрогнул в чей-то руке топор. Каждая сосна была свита из множества отдельных стволов – самые уродливые, поэтому неповторимые переплетения. Одно дерево казалось хвойным кустом, другое – канатом в два обхвата с кудрявой вершинкой, третье перевилось снизу, а выше – разваливалось, точно развесистый дуб.

Анна бродила между этими соснами, задерживалась, удивленно смотрела на них и несвязно думала: бедные, бедные, как вас жизнь изуродовала, – и точно все это относилось не к деревьям, а к ней самой. Она пыталась думать и о другом, но стройной думы не получалось, и от усилия думать именно стройно, мысли окончательно запутывались.

Страдала Анна даже не оттого, что с Виктором случилась беда, беда – как судьба, от беды и судьбы не уйдешь, страдала Анна, скорее, от непринятого решения: кто прав – она или Ирина, идти или не идти?

* * *

– И ты после всего пойдешь к нему? Опомнись! – почти гневно восклицала подруга. – Он сам к тебе должен явиться и прощения попросить! Идти – значит унижаться! А самолюбие где?

Анне вовсе не хотелось спорить, но молчать – значило бы соглашаться, а она не могла согласиться.

– Так ведь человек он и в беду попал. А беда, она не только душу прямит, беда и вовсе загубить может.

– Ты что, не здорова? О чем ты говоришь?

– Понимаешь, он в беде, ему погибельно и больно, мне тоже больно. В нем кровь-то, что и в сыне, а моя кровь тоже в сыне – вот и больно... А может, он ждет, а может, все по-другому и будет.

– Больная, точно – больная. Да как ты не понимаешь: он тебя выгонит, точнее – велит выгнать. Что тогда?

– Тогда что? Тогда я уйду. – Анна недоумевала и удивлялась, что Ирина не понимает ее. – Ведь если не идти проведать, так это уж совсем бессовестно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.